

Василий Аксенов

НЕГАТИВ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО

ГЕРОЯ



Василий Павлович Аксенов
Негатив положительного героя (сборник)

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153237
Негатив положительного героя: Эксмо; Москва; 2006
ISBN 5-699-18490-2*

Аннотация

«Негатив положительного героя» – цикл новелл конца 90-х годов XX века – взгляд повзрослевшего шестидесятника на наше время с его типологическими героями.

Содержание

1. Первый отрыв Палмер	4
I. Негатив положительного героя	13
2. Три шинели и Нос	16
II. За год до начала войны	25
3. Сен-Санс	30
III. Досье моей матери	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Василий Аксенов

Негатив положительного героя

Hamlet. is this a prologue, or the posy of a ring?

Ophelia. 'tis brief, my Lord.

Hamlet. as woman's love.

W. Shakespeare¹

1. Первый отрыв Палмер

Художник Орлович сидел в своей студии, что за старой стеной Китай-города, окнами на Большой театр. На дворе в декабре 1991 года подыхал советский коммунизм. У Орловича между тем завершалось нечто лиловое с багровым подтеком, надвигалась грозовая синева со свинцовым подбрюшием, новый прибор акриловой революции.

В мрачноватой студии сполохами самовыражался телевизор. Страшный, как леший, рок-звезда Кьеркегоренко вопил уже привычное: «Красная сволочь, вон из Кремля! Вон из Кремля, стонет земля!» От плиты через всю студию тянулся запах индейского петуха: подружки Орловича, Муза Борисовна и Птица-Гамаюн, готовились к приему гостей по случаю окончания лилового и начала синего.

Задрожала оцинкованная дверь – в нее явно били ногой. Прежде бы подумал непременно Орлович: «Пришли гады». Хотя никогда никаких особых поводов «гадам» приходиться не давал, за исключением знаменитого дерзновеннейшего своего прыжка в лопату бульдозера «Беларусь» осенью 1974 года. Желто-зеленый шарф его тогда развевался над разгоняемой выставкой «модернистов», пока не был сброшен вместе со всем остальным в канаву.

Ну, теперь-то, после августовских баррикад, «товарищам» не явиться, подумал Орлович, однако дверь продолжала трястись словно и впрямь под сапогом гегемона. Орлович при помощи своих длинных рычагов вылез из продавленного дивана и приоткрыл дверь. Вместо сапога в мастерскую просунулась босая нога. Гегемон обернулся деклассированным соседом Чувакиным. «Ты чего, Модест, закрываешься? Колбасу, что ли, жрете?» Он прошел внутрь, распространяя противный запах винегрета, сродни блевотине.

Орлович увидел себя вместе с Чувакиным в скособоленном зеркале XIX века. Друг друга стоим, подумал он. Экая гнусная неряшливость лиц, волос, гардероба. А ведь у меня есть два хороших костюма, бритвы, одеколон, чтобы как-то отличаться от Чувакина.

«Ничего починить не надо?» – спросил сосед, заглядывая почему-то за зеркало. Всему дому было известно, что Чувакин, при всей своей внешности «русского умельца», никогда ничего починить не мог и не хотел и что главным его делом было – всосаться в среду, чтобы там прохалываться, потому-то всегда и являлся с предложением чего-нибудь починить.

«Вам что, Миша, нужно в данный момент?» – спросил Орлович.

«Немка там какая-то пришла, Модест, ты бы помог покалякать», – сказал Чувакин.

«Это что-то новое у вас, какая еще англичанка?» – удивился художник.

Миша Чувакин рассказал короткую историю. В принципе он уже спал, поев лапши с курятиной. Как этот вот рок-фестиваль начался, так он и замкнул на массу, даже Смарагду блядскую вырубил из сознания. Скажи, Модест, что с похмелья, и как раз ошибешься! Просто устал, до утра в бригаде работал по разборке памятника Калинина Михал Ваныча, все-союзного старосты. Как это, к чему такие подробности, Модест? О чем людям меж собой говорить, если не о подробностях?

Налив себе небрежно из початой бутылки стаканок «Пшеничной» и махнув его как бы между прочим, будто и не за тем пришел, Чувакин продолжал. Стук какой-то услышал он сквозь сон, какой-то ненашенский, в общем, участковый так не стучит. Смарагда блядская пошла открывать и вернумшись с немкой. Такая баба молодая, далеко не развратной внешности. Хроменькая англичаночка, будто цветок, ну немка. Дрожит и протягивает ребенка в голубых ленточках.

Вот вам и диккенсовская история в китайгородской интерпретации, подумал Орлович. Близится Рождество, хроменькая немочка-голландочка с ребенком в голубых ленточках. Москва, безвластие. «Не сворачиваете ли вы, Миша, на тропу мифов?»

Чувакин вдруг ужасно обиделся. Он соседа по-дружески называет, Модест, а тот все время на официальные переводит: Миша. Хули-ш-ты, Модест, как не свой, как будто не сосед, «вы, Миша»? К тебе приходят за помощью, чтобы перевел слова матери-одиночки, а ты, как с алкоголиком, на «вы». Плеснув себе еще полстакана «Пшеничной» и с той же небрежностью, как будто совсем не придавая главной влаге своей жизни никакого значения, ее употребив, декласе Чувакин протопал к двери. Какие ленточки, говоришь, какой ребенок? Смотри сам!

Орлович теперь своими глазами видел на лестничной площадке англичанку, если не немку или не шведку, в черном пальто-дутике и в теплых наушниках на удлиненной голове. Руками в огромных, тоже «дутых» перчатках она прижимала к груди основательный пакет, перевязанный синим шнуром.

Это была некая Кимберли Палмер из города Страсбург, штат Вирджиния, США, просим не путать со страсбургским пирогом в центре Западной Европы. Ей было двадцать девять лет. По каким-то непонятным причинам всякое упоминание России вызывало у нее в детстве спазм мышц горла и набухание слезных желез. Эта странная эмоциональная реакция привела ее на русскую программу в университете Вандербилд, что в городе Нэшвил, Теннесси. Там она волновалась целый семестр, пока брала курсы по географии и истории России, ну а на курсе по Достоевскому совсем потеряла покой. Дошло до того, что однажды «руммэйтс», то есть сожители по студенческой квартире, сбежали в ее спальню, встревоженные рыданиями: это Палмер читала «Неточку Незванову» в переводе Эндрю Мак-Эндрю.

Быть бы ей отличной слависткой, если бы не пришлось прервать образование. Случилось так, что ее отец, мистер Палмер, очумев от бесконечной жизни в живописной долине Шэнандоа, выкинул антраша вполне в духе героев Достоевского. Не сказав ничего семейству, он перезаложил дом, забрал весь чистоган и свалил куда-то к чертям, может быть, даже в Лас-Вегас, в общем, с концами. Мать, миссис Палмер, рухнула под тяжестью ежемесячных процентов, младшие братья одичали, и Кимберли, едва ли не повторяя подвиг Сонечки Мармеладовой, запродалась в банк «Перпечьюэл» и так и засела там на годы в отделе автомобильных ссуд за цельностеклянным окном с витыми в старинном стиле буквами и с видом на перекресток города Страсбург: светофор, банк-конкурент «Ферст Вирджиния», аптека Макса и магазин гончарных изделий «Хелене Поттери».

В банке она преуспела, то есть к двадцати семи годам стала завоём секции с окладом 32 000, что давало ей возможность даже и после выплаты процентов вести более-менее современный образ жизни. Все это время она продолжала считать себя студенткой престижного вуза, не забывала обновлять университетскую наклейку на своем «Шевроле», а за мороженым у Макса нередко говорила Хелен: «У нас, в Вандербилде...» Два раза в неделю она ездила в Вудсток и там в гимнастическом зале плясала аэробические танцы. Естественно, все карманные издания русских классиков оказывались на ее полке, а ночами кочевали по ее подушкам. По утрам она пробегала три мили вокруг сонного Страсбурга, а иногда и вечером

пробежала три мили, а иногда и среди ночи пробежала три мили, а иногда ей и вовсе не хотелось останавливаться, лишь бы не возвращаться в отдел автомобильных ссуд. Естественно, во время бега в ее «уокмэне» крутилась катушка с русскими фразами или с симфониями русских композиторов. «Эта Палмер вернулась из Теннесси совсем другим человеком», – говорили о ней земляки. Мужчины не решались предложить ей «дэйт», и правильно делали: никто из них не напоминал ей ни Печорина, ни Гурова. В своем литературном «целибате» она, между прочим, начала уже несколько подсыхать, несмотря на сильное воображение.

Лучше всех ее понимала Хелен Хоггенцоллер, хозяйка популярной местной лавки, торговавшей своего рода гончарными достопримечательностями: горшками и вазами для ваших цветов, фигурами фламинго и сурков для ваших лужаек, ангелочками для ваших могил и вообще предметами хорошего вкуса, моя дорогая. Трехсотфунтовая Хелен в противовес тяжести своей плоти отличалась легкостью нрава, любознательностью и даже некоторой начитанностью. Свои сверхразмерные вещи она умудрялась носить с экстравагантностью, уж не говоря о том, что на груди у нее постоянно побрякивали керамические бусы, отражающие многовековую культуру шэнандоаского племени индейцев, называвших себя «Созерцателями Луны».

Пожалуй, только с Хелен наша героиня могла поговорить о страсти, о далекой стране, которую никаким компьютером не понять, никаким калькулятором не измерить, в которую можно только верить, верить... В момент сильного спазма, волнения груди, увлажнения глазных впадин Хоггенцоллер сжимала руку Палмер и говорила ей о том, что сержант Айзек Айзексон, заместитель шерифа из Форт-Ройял, опять спрашивал о ней и вздыхал, как какой-нибудь твой, мой медок, Пушкин.

Именно в «Хелене Поттери» стал собираться женский клуб города Страсбург, двенадцать или около того не худших представительниц этого основанного еще в восемнадцатом веке поселения с общим количеством душ, превышающим тысячу. По пятницам собирались среди керамики и бархатистых цветов понтесии, выставляли кто во что горазд – «браунис», или «дэниш», или домашние кукисы с изюмом, или ведерочко паста-салата, а то и палочки сельдерея с морковкой в сопровождении густого, как вся местная традиция, соуса, нацеленного на погружение в него растительных предметов и приятного увлажнения процесса разжевывания. Если же разговор получался хороший, тогда, махнув на подсчет калорий, складывались по два доллара и посылали через дорогу к Максусу за сырным тортом. А разговоры нередко получались интересными, и заводилой почти всегда оказывалась Кимберли Палмер. Тетушки вздыхали, слушая ее рассказы о страданиях России, с удовольствием повторяли за ней интересные слова: «Горбачев», «крэмлины», «кэйджиби», «пэрэстройка». Особенно им нравилось слово «гласноуз», оно звучало превосходно, как прозрачная противоположность выражению «хардноуз», то есть темному догматизму и тупоносости.

Именно там, в «Хелене Поттери», возникла идея присоединиться к мировым усилиям по оказанию гуманитарной помощи многострадальным россиянам. Давайте отправим им к Рождеству продовольственные посылки. Внесем нашу лепту. Подадим пример другим христианам, другим американцам, другим женщинам!

Начали собирать деньги, то есть, более принятым языком говоря, «поднимать фонды». Газета «Голубой хребет» сообщила о почине широкой публике. У витрины с горшками и вазами стали все чаще останавливаться машины. Кто давал доллар, а кто и два. Замшерифа Айзек Айзексон пожертвовал тридцать баксов, то есть сумму, достаточную для покупки шести шестибаночных упаковок пива.

Эта удивительная деятельность так увлекла Палмер, что она теперь стала выбегать из дома не иначе как с шикарнейшей улыбкой на устах. Как вдруг произошла неприятная сенсация: вернулся дадди, то есть ее грешный папаша собственной персоной. Он выглядел теперь как половина того замечательного, второго в графстве, катальщика шаров и продавца главного

городского предприятия «Антик Эмпориум». Извинившись перед семейством за причиненные неприятности, этот неопределенного возраста и странной легкости человек пояснил, что целью его приезда является не возобновление совместного проживания, а восстановление прав на бесплатное или почти бесплатное умирание в больнице штата. Спокойно, девочки и мальчики, без паники! По сути дела, он уже зарегистрировался в госпитале, а в старый дом завернул лишь за своей коллекцией бейсбольных карточек, чтобы перебирать ее в процессе умирания.

Кимберли была потрясена удивительными качествами этого почти незнаемого своего дяди и привязалась к нему на весь остаток его жизни, то есть на пятнадцать с чем-то дней. Папа страдал, но не переставал улыбаться в ожидании болеутоляющих. Фармакология погружала его в почти блаженное состояние. Он брал руку старшей дочери и продолжал улыбаться, то ли вспоминая что-то для себя совсем неплохое, то ли путешествуя уже в каких-то околоземных сферах. Умер он в превосходнейшем настроении, даже вроде бы насвистывая что-то из эпохи биг-бэндов.

Потрясенная Кимберли стала теперь пробегать уже не три мили за раз, но все шесть. Волочась за ней, витала над спящим Страсбургом Пятая симфония Чайковского. Ночные небеса, казалось, отражали счастливую улыбку отчалившего отца. Айзек Айзексон нередко сопровождал ее в своем патрульном автомобиле. Сдерживая слезы, он говорил ей о групповой терапии в области преодоления сексуальной сублимации, о планомерном увеличении будущей семьи, о балансировании бюджета.

Как-то раз под утро бегунию перехватила дружеская рука Хелен Хоггенцоллер. Оказалось, что «Поттери-клуб» на последнем заседании решил выделить из своей среды представителя для сопровождения гуманитарной помощи в Москву. Этим представителем, конечно, оказалась Палмер. Можно ли после этого называть наше время воплощением меркантилизма?

В самом деле, окиньте взглядом арену мировых событий, и вы найдете там все, что угодно: бандитизм, садомазохизм, романтическую жестокость, лицемерие и сострадание, огромное количество какого-то экзальтированного идиотизма, довольно веселое, хотя и вдребезги подлое мошенничество, но уж никак не проявление здравого смысла и сопряженного с ним меркантилизма. Люди какими-то миллионными кучами совершают безрассудные поступки, живут не по средствам государствами и в одиночку, они способны за три дня разрушить социализм или швырнуть на ветер три десятидолларовых бумажки. Только лишь Китай планомерно наращивает экономический потенциал без сожаления об убитых для этой цели студентах. Однако то, что касается Китая, не относится к остальному человечеству.

Итак, это была вот именно 29-летняя девушка Палмер с пакетом гуманитарной помощи, принятым деклассированным трудящимся СССР за сверток с младенцем. Таких пакетов у нее в багаже было тридцать. Не так уж много для спасения основательного государства, но главное – почин! Если от каждой тысячи западных христиан придет по тридцать пакетов, то ведь из одних США это будет семь с половиной миллионов! Надо ли говорить, в какой экзальтации подлетала наша русофилка к Москве.

Вожделенный город в первые же минуты знакомства поразил ее своими запахами. Обладая чуткими ноздрями человека, выросшего среди довольно негладких ароматов долины Шэнандоа, Палмер сразу же уловила основное: смесь мочи и дезинфекции. Это основное, впрочем, постоянно обогащалось, в зависимости от обстоятельств, элементами массируемого пота, повсеместной гнильцы, химического алкоголя, перегаром автомобилей – словом, всем букетом агонизирующего коммунизма. Она ловила себя на странном ощущении: в таком запахе, казалось ей, как-то неловко предаваться обычным человеческим делам. Надо просто стоять и ждать, когда он улечится.

Номер для нее был зарезервирован в огромном отеле возле Кремля. По бесконечным коридорам постоянно шло множество людей. Из окна Палмер видела неширокую реку с закопченным льдом и чудовищное здание с шестью адскими трубами и могучими буквами по фасаду. Едва лишь она прочла слово «Ленин», как в номер вошли две толстые женщины и принялись пересчитывать полотенца, наволочки и пододеяльники. Забившись в угол, Палмер смотрела на вялое воплощение «русскости» в грубых и порочных чертах этих двух представительниц. «Где ваше второе полотенце? – спросили тетки, но, увидев расширенные глаза приезжей, махнули рукою. – Э, ни бельмеса не понимает! – Поглубже всмотрелись и добавили: – И денег небось нет у этой мымыры. На гроши катаются!»

С первым, пробным, пакетом гуманитарной помощи Палмер вышагивала мимо Кремля. Здесь было гораздо лучше, запах отстал. Мороз пощипывал щеки и нос. Увидев свое отражение в витрине ГУМа, она подивилась своей красоте. Высокая американка с пакетом гуманитарной помощи. Поражала густота толпы. Люди быстро шли, не обращая внимания на сказочную архитектуру окрестностей. На углу стояла девочка-подросток с плакатом по-английски: «We were deprived of all basic rights please help my family to survive»². Палмер протянула ей двадцать пять рублей. Девочка показала подбородком на жестяную банку и презрительно отвернулась.

За углом вдоль тротуаров тянулись бесконечные очереди. Поражало количество меховых шапок, свидетельствующее о массовом избиении маленьких животных. В будущем надо будет начать здесь борьбу против меховых шапок! Она пыталась прислушиваться к русской речи. Иногда долетало нечто будто бы с китайского факультета – незнакомый хриплый выдох на «ху». Вообще-то люди в очередях были неразговорчивы, казалось, они уже исчерпали все темы. У одного мужчины висела на груди дощечка с валютными знаками. Она услышала слово «кауфен» и шарахнулась в сторону.

Вдруг она оказалась на крыльце, казалось, развороченном землетрясением. Из двери со скрипом вытаскивали детскую коляску. Жилой дом. Палмер прошла внутрь. Пещера вестибюля, пропахшего кошачьей свободой. Поверх разбитого, вставшего коробом кафеля лежат доски. Будто пенсильванская шахта зияет вход в длинный коридор. В этих трущобах, конечно, живут нуждающиеся. Вот сюда, в дверь под номером 7-а, и будет доставлен первый рождественский подарок из Страсбурга.

«Не открывай, не открывай, паразит!» – завопили внутри. Дверь открылась. Палмер показалось, что она попала в знакомое по кино нью-йоркское гетто. Произошло это прежде всего от того, что декласе Чувакин от многолетнего потребления бормотухи если уж не почернел, то основательно посизовел. Женка же чувакинская, Смарагда или как ее там, была из литовских караимов, так что вполне могла сойти за пуэрториканку.

Палмер хотела нормально по-русски поздороваться, но от волнения произнесла нечто несуразное: «Здравевичи!» Перепугавшись, стала тыкать пакет, как бы умоляя, чтобы не подозревали в дурных намерениях. Тут она заметила, что супруги босы и ротовые полости у них не в полном порядке. Едва не разрыдалась: «Бедные, бедные!»

«Тэйк ит, – бормотала она. – Инджой! Мэрри Кристмас!»

«Ну и мымыра, – зевнула Смарагда. – Во, кадр! Ребенка, бля, хочет подбросить!»

«Ни хера ты не понимаешь, Смарагда гребаная, – весь от ушей до пяток прочесался Чувакин. – Это ж шведка, они все такие страшные. Пойду к художнику ее сведу, он поихнему сечет, я сам слышал».

«Опять напьешься у художника! – завопила жена. – Домой не приходи, козел! Чтоб вас всех, козлов, на этом свете шахной накрыло!»

² «Нас лишили всех прав пожалуйста помогите нашей семье выжить».

Чувакин с дипломатическим изгибом показывал путь. Лезли по лестницам. Дом когда-то был богат, подумала Палмер. Кое-где еще виднелись мраморы, витой чугунок, осколки мозаики. «Мир искусства», – вспомнила она лекцию вандербилдского профессора Костановича. Залезли под самую крышу. Здесь, должно быть, гнездятся самые нуждающиеся. Этот самоотверженный босой человек подумал не о себе, а о других. Вот таковы глубины этих характеров. Из-за оцинкованной двери на верхней площадке вдруг донеслись совсем неплохие запахи. Похоже на домашнюю готовку в День благодарения.

Когда «англичанку» провели внутрь, Муза Борисовна и Птица-Гамаюн уже начинали накрывать на стол в дальнем углу пещероподобной мастерской. Как две мортиры, торчали к кафедральным сводам ножки венгерской индейки. Благоухал первый противень пирога с вязигой. Над краями хрустальной чаши поднималась мягкая горка зернистой икры. Этот последний продукт был известен Палмер только по художественной литературе и в своем реальном воплощении так, кажется, и остался ею до самого конца рассказа неопознан.

Дамы с удовольствием продолжали вокруг стола свою созидательную работу. Обе они были, между прочим, большими московскими знаменитостями, останкинскими миражами, а также «лапочками» всего торгового и бластного плебса. Для них не составляло никакой проблемы, «работая лицом», пройти через любую толпу в кабинет директора гастронома и добыть любой дефицит. И вот – везет же Модесту! – обе выдающиеся знаменитости разных поколений почему-то полагали своим долгом следить за тем, чтобы дом художника был «полной чашей». И это несмотря на то, что чаша сия постоянно и похабно опустошалась богемным сбродом, собиравшимся по ночам на этом чердаке, откуда видна была кучерская голова и спина основоположника марксизма Маркса, а также, если впериться в пьяные мраки, и квадрига Большого театра.

Модест Орлович знал одно полновесное английское предложение-вопрос: «Вэа ар ю фром?» – то есть «Вы откуда?», и, кроме того, немало еще отдельных слов, в основном существительных. Этот запас помогал ему объясняться с иностранцами в стиле «беспроволочного языка», изобретенного еще итальянским футуристом Маринетти, то есть без глаголов. «Пэйнтер, – обычно представлялся он, похлопывая себя ладонью по груди. – Грэйт пэйнтер. Май хаус, – следовал циркулярный жест, очерчивающий мастерскую. – Гэст гуд. Фрост, а? Ранга, Уинтер. Вэа ар ю фром?»

Палмер между тем, с восторгом глядя на высокого и тощего художника – ну, просто воплощение князя Мышкина! – восклицала на своем вирджинском, добавляя иногда слипшиеся, как засахаренный попкорн, русские слова. Вот что приблизительно получалось: «Я из Страсбурга, Вирджиния. У нас тоже бывает зима. Нет-нет, я не боюсь русски мэроуз. Я так счастлива, огромное спасибо! Значит, вы маляр, сэр, а этот ваш друг, босой джентльмен, очевидно, водопроводчик, не так ли? Это просто чудесно! Спасибо за костеприемство!»

Орлович немедленно и бодро отвечал: «Гуд. Фуд. Водка. Вир. Фак. Тэйбл. Чэар. Глас. Плэйт. Пэйнтинг. Грэйт. Вуаля!»

Чувакин даже пасть раскрыл от восхищения. При нем развивался почти понятный разговор на непонятном языке. «Про ребеночка спроси, Модест!»

Орлович двумя ладонями и подбородком спросил про синий сверток: «Чайлд? Чайлд? Мазер? Фазер?»

Палмер не успела ответить. Оцинкованная дверь распахнулась, чтобы больше уже в этот вечер не закрываться. Ввалилась толпа каких-то румяных и пьяных. Поражала взволнованная искаженность лиц и изысканность одежд. В кучу сваливались дизайнерские пальто с пелеринами, разматывались многоцветные шарфы. Целая команда голенастых девок. Жирноватые сицилианцы. Большой русский молодец, под косматым жилетом голая грудь с крестом. Все говорили разом, никто не слушал друг друга.

«Где мне положить этот пакет с гуманитарной помощью?» – спросила оробевшая Палмер. Ей никто не ответил. Рапсодия поцелуев. Мужчины всасывали друг у друга часть плохо бритых щек. Женщины все прижимались к хозяину лобками, что, очевидно, заменяло у них рукопожатие. Кажется, они все уже пьяны, а на столе еще бутылок, что кеглей в кегельбане.

«Да вы все уже бухие, банда!» – счастливый, кричал Модест.

«А ты догоняй, гениуша наш гениальный!» – Русский красавец, схватив хозяина за бородку, совал ему в рот бутылку шампанского.

Разлетались брызги с пеной. Одна увесистая капля попала Палмер прямо в лоб. Голова закружилась, и взгляд вместе с ней описал дикую окружность по сводам огромного чердака. Только тут до Палмер дошло, что стены пылают живописью и мерцают глубинным золотом икон. Птица-Гамаюн легонько вытряхнула ее из прошитого на пуху пальтеца, обняла за талию: «Клади ребеночка вот здесь, под образами, и к столу, к столу!» Красный рот проиллюстрировал приглашение международно доходчивым «ням-ням». «Да ты вся посинела, мамочка! – Муза Борисовна поставила перед Палмер миску горячего жира. – Разбульонься, дорогая!» Янтарное пятно холестерина покрывало поверхность. Только стакана русской водки не хватало для самоубийства, и вот он появился.

«Давай на брудершафт, сельская учительница!» – проорал в ухо русский красавец Аркашка Грубианов. Он сидел на ручке ее кресла, а когда, после водки, полез по русскому обычаю целоваться, свалился мощным бедром между двумя стройными конечностями самаритянки, ненароком нажимая ладонью на ее промежность.

Она трепетала тонкими губками под мокрыми сардельками Аркашки. Он не виноват, это традиция, вот такая истинная народность, рашенес, а этот мужчина не виноват, не надо придирааться. Какая страсть, какая свежесть чувств, хоть от него и несет чем-то тошнотворным.

Грубианов совал ей в рот столовую ложку икры. Да жри, жри наше достояние, последний кавиар подышающей России! Не можешь проглотить? Ребята, она в рот берет, а проглотить не может. Муза Борисовна мхатовским жестом пресекла грубиановское свинство: «Оставь свое свинство, друг Аркадий!» Тут кто-то над столом божественно заиграл на скрипке *Eine Kleine Nacht Musik*³. Толпа европейского и русского мужичья в богатых костюмах встала за дальним концом стола, выпивая какой-то свой сепаратный тост совместного предприятия. Аркашка, уже забыв о Палмер, брал за грудь головастого критика: «Ты плохо всасываешь по русской идее! Ты Розанова еще не всосал!»

Еще один какой-то головастый подлезал к Палмер с другого боку: «Же ву вудре де катать на русской тройке!» Голенастым девицам за столом не сиделось, все время подымались, как бы стараясь вылезти из крохотных платьишек и тут же натягивая их обратно с несколько сокровенными улыбками. Вдруг вся компания, ртов не менее тридцати, разом запела: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!»

Уже горели свечи. Палмер изумленно смотрела на озаренные вдохновением лица. Малейшая вздутость щек или подглазий казалась вздутой вдвойне. Всякая впалость вдвойне западала. Живая скульптура многострадального народа. Налив сама себе водки из осмерикового печатного штофа, девушка Палмер поднялась с тостом.

«Господин и господа!» – сказала она, имея в виду «леди и джентльменов». Далее в переводе с вирджинского: «Я имею большую привилегию передать вам сердечно-чувственные и теплые рэгарды из народа Шэнандоаской долины, партикулярно из клуба горшечников миссис Хоггенцоллер. Дайте мне заверить, что эта скромная донация рефлекирует лишь небольшую секцию большой симпатии в сторону очень большого народа на очень, очень большом кроссруд ов хистори!»

³ Серенада В.А.Моцарта «Маленькая ночная музыка» (нем.). (Прим. ред.)

Дамы смотрели на нее удивленно, будто только что заметили. Мужики отклонялись со стульев, чтобы как бы оценить задок. Даже сексуально сытые или с плохим аппетитом считали необходимым показать недремлющее либидо. Один только Ар-кашка Грубианов почему-то в этот момент приуныл. Почему-то именно во время тоста этой лупоглазой шведки, что ли, он подумал о своем стукаческом подвале, который из-за развала СССР может вдруг открыться с ошеломляющей вонью.

Палмер кистями обеих рук указала обществу на синий сверток под мерцающей иконой, рядом с которым сидел, пританцовывая, декласе Чувакин, уже не босой, но обутый в большие итальянские сапоги Музы Борисовны на стальных шпильках. Он взял сверток и передал его хозяину дома Модесту Орловичу, и тот принял предмет не без нежности.

«Как его зовут? – спросил он гостью. – Ном? Наме? Нэйм?» Раскачивал, сам качаясь над столом, сплошной папаша. Теплое чувство изливалось из детских, если не ослиных, глаз художника. Мужичье захохотало не очень злобно.

«Признавайся, Модест, заделал шведке? Теперь получай на воспитание!»

Палмер быстро распеленала сверток прямо на столе по соседству с осмериковым печатным штофом царской водки, хрустальной славянской ладьей, все еще хорошо нагруженной каспийским кавиаром, полуобглоданной ножищей венгерской равнинной индейки, россыпью сигарет наиболее престижных в ту мутную русскую зиму марок, а именно «Мальборо» и «Данхилл», а также предметами той западной консервированной улады, что нанесла непоправимый уже удар по советскому марксизму, ну, чтобы не косолапить больше по безобразной фразе, рядом с банками пива. Взору общества предстал тщательно разработанный тетушками «Поттери-клаба» набор: две коробки обогащенного риса «Дядюшка Бен» для быстрой варки, пакет машрумной густой подливки, большая коробка овсяных хлопьев «Здравый смысл» (все-таки, оказывается, присутствует в контексте цивилизации), этот кладезь благодетельной клетчатки доброго витаминного букета вкупе с рибофлавином, магнием, цинком и даже оптимальным количеством меди, причем при полном отсутствии сатурированных жиров и холестерина, две пачки спагетти «Таун-хаус» и к ним необходимые ингредиенты в лице тюбика кетчупа и банки порошкового пармезана, три коробки идеального поставщика белков, вот именно «Тунец в весенних водах», дабы каждый едок хоть ненадолго почувствовал себя тунеедцем, ну «Бульонные кубики Уайлера» и непременно три банки «Супа Кэмпбелл» имени Энди Уорхолла, ну пакет с чайными мешочками «Липтон» (пейте 100 крепких стаканов, или 200 умеренных стаканов, или 300 благоразумных стаканов), ну банка растворимого кофе «Кэмпбелл», чью последнюю каплю оценил еще Маяковский, когда кепчонку не хотел сдирать с виска, ну пакет псевдосливков к этому кофе, чтобы голодающий народ все-таки не жирел, смесь горячего какао, набор пряностей Макормика в составе измельченных петрушки, сельдерея и «Сладкого Базилия» (следует отметить несомненную утонченность Хелен Хоггенцоллер), ну шампунь «Голова-Плечи», паста «Гребень», набор миниатюрных щеточек «Прокса-браш» для очистки российских межзубных пространств от остатков американской еды, банка витаминов «Дже-ритол», аспирин «Браун» и геморроидальные свечи «Препарэйн-Эйч» для благополучного исхода всего перечисленного выше, ну и, наконец, некоторые лакомства для детворы – шоколадки «Кранч», датское печенье, полурезиновые конфетки «Джелибиинс», а также в завершение кое-что для души, фигурка американского Деда Мороза, Санта.

«Вот и все! – звенящим голосом воскликнула Палмер. – Алас, немного, но с самого дна нашего сердца!» «Фирма!» – завопил Чувакин и бросился выхватывать из развернутого пакета его животворное содержимое. Грубианов тут потянул на себя, и все рассыпалось. Все завертелось в веселой жадной возне. Вспыхивая лиловыми глазами, пролетела Птица-Гамаюн с банками «курицы моря». Другие девушки уже вовсю пудрились пармезаном. Даже сотрудники совместного предприятия «Очи черные» не погнушались подарками, хотя у них

этого добра, в итальянском варианте, было заготовлено достаточно на случай многомесячных уличных боев в советской столице. Критики же славянофилы, уж на что гордый народ, и те не преминули зажать по пакетику грибной подливки. Среди всей этой кутерьмы один только скрипач не позволял себе отвлекаться. Покусывая мелкотрубчатые макаронные изделия, он томительно выводил мелодию «Йестердэй». И Муза Борисовна, внезапно схваченная мокрой ностальгией, светло плакала, поддерживая все еще дивные груди ея. Меж них у нее покоился, добавляя особый смысл к улетающему моменту, набор сухих пряностей «Маккормик».

Один лишь только хозяин, будущий экспонат аукциона «Соцебу», Модест Полигаменович Орлович остался было без сувенира, но и он быстро нашелся. Сфокусировав над растерзанным пакетом незаконного младенца его узкоплечую мамашу, он вдруг решил, что это как раз то, что ему осталось: символ материнства, модель нового акрилового мирискусничества в синем. «Мазер! Чайлд! Пэинтинг! Же ву съем! Лав! Сэанс!» Он ухватил Палмер за трепещущие запястья, на которых крупными кузнечиками бились пульсы, и повлек ее в лабиринт перегородок, в святая святых, где стоял натянутый холст да в окне мутно светилась российская история: гранитный истукан с кучерской гривой, да высоченные фонари, знавшие лучшие времена социализма, да имперский желток Малого, примешанный к зловещему дегтю пустых торговых рядов, да неуместная посреди 1991 года классика Большого, с ее, совсем уже не от мира сего, тачанкой-квадригой.

Полуизнасилованная Палмер усажена была на подоконник в полурастерзанном виде позировать. Он даже не заметил, что похитил у меня мою вишенку, думала она с полунежностью, глядя, как было сказано, «в муть этой ебаной Византии» и лишь изредка сотрясаясь в коротких ошеломлениях. Художник же вдохновенничал или, как в их кругу говорили на манер джазистов, «лабал» у своего холста. Время от времени сквозь заляпанную икрой, шоколадкой и губной помадой проволоку бороды прорывались имена существительные: «Солитьюд. Эйлиэнейшн. Ангажман. Вельтгейст!» Из-за перегородок неслись все нарастающий в своей дикости шум гулянки.

Так прошло два часа, после чего с площади, все еще донашивающей имечко скромненького большевичка Яшеньки Свердлова, донеслись два несильных взрыва. Фонари по всему пространству погасли. Мрак наполнился дымом.

Сеанс продолжался еще целый час. Силуэт Палмер теперь отражался в приткнутом к стене эмалированном тазу. Спасибо джоггингу, думала она, это он помог мне сохранить до двадцати девяти лет волшебные формы Принцессы Грезы. Еще целая серия сильных звуков донеслась из трапезной. В творческий закуток всунулось с разных сторон не менее дюжины залитых диким счастьем рож. «Кататься, кататься! На лошадях кататься!» Модест отбросил кисти. «Аида, Кимберлилулочка!» Вокруг уже бесновались карнавальные маски. «Там кони в сумерках колышут гривами!» Палмер поспешно, но бережно упаковывала свои грудки.

«Тройка?! – вспомнила она словцо. – Тройка русски?!» Грубианов поволок, норовя водрузить все ее сто десять фунтиков себе на плечи. Гости валом сыпались с верхотуры. Вымахивали на волю, что все еще была улицей 25 Октября, хоть и на грани выблевывания всего Октября целиком.

Экипаж уже ждал. Заказано через вооруженную фирму «Алекс». Гарантируется полная надежность. Тройка оказалась суперлюксозной, даже и не тройка, а отлитая в лучших традициях бароном Клодтом квадрига. Удары копыт высекали ворохи искр и крошили старый асфальт. Незыблемость основного начала гарантировала широченная мытищинская спина кучера. Палмер прижалась щекой к этому недоработанному кудашевскому монолиту.

Неорганический космос, что ли? Побег к небесным булыгам, не так ли?

I. Негатив положительного героя

*Мезозойское море. Снижающийся птеродактиль.
Бесконечные мелкие волны катятся из пустоты в пустоту.
Примитивная рифма вытягивает в амфибрахий и дактиль.
Прозаический метр, однако, все еще на посту
Динозавром на горизонте.*

В наше время это взморье напоминало Невский в час гуляний. Шествовали отцы семейств, всевозможные Александры Борисовичи. С ними – матроны и дети в возрасте пубертальных влияний. Были и половозрелые девы, эдакие ирисочки. Кнопочный зонтик.

Казался чудом. Шерсть и нейлон обтягивали гениталии. «Спидолы» сквозь глушение вытягивали соблазн. Рифмой к гениталиям, разумеется, была Италия. Публика грезила Сингапуром-под-вопли-обезьян. Готланд был рядом, хоть близкий, да не наш.

Ненашенский, ухмылялись некоторые супермены. Прямоком через море, всего лишь сто миль. Махнуть – и конец этому вечному рабству, полная перемена. Вместо нашенской абракадабры – ненашенский, ютландский стиль. Закатный мираж.

Собирал созерцателей. Товарищи, зеленый луч! Редчайшее оптическое явление балтийских зорь. Потряхивайте калейдоскопчик радужных туч, стряхивайте меланхолию и всяческую хворь! Дышите глубже у моря мечты!

Позднее оказалось, что море мечты кишечной палочкой кишит. Испражнения Джамгернута. Радиоактивная истерия. Печальный финал прибалтийского раута. Предотъездная дизентерия. Закачались прощальные мачты.

Отчалили все Александры Борисовичи. Бадминтоны их дочек растаяли, как энэло. Нынче небось летают над иудейскими кипарисами. Здешнее побережье свобода вымела атлантическим помелом. Ни взора, о друг мой, ни вдоха.

Осталось лишь мезозойское море. Вдоль него я иду пятнадцать лет спустя. Одичавшие чайки учатся крякать в миноре. Да кишечные палочки кружатся в волнах, блестя. В общем, неплохо.

Издалека по кромке моря приближается негатив Юры Ренье. Визитная карточка поздних шестидесятых. Все те же майка и шорты в память о той старине. Все та же легкая походка и детский взгляд из-под волос косматых. Вопрошающая эпоха.

Уже различается загорелое совиное личико и тонкий нос. Все тот же UCLA⁴ на груди, предмет отваги. Юрка Ренье, шестидесятник-барбос. Немало детских идей он поверил многострадальной бумаге. Мечтал о лондонском Сохо.

⁴ (UCLA) Калифорнийский университет.

При виде этого мальчика бычился мент. Бородою и гривой он опровергал устои. Что же лишает его позитивного облика в этот момент? Что же мешает выйти в положительные герои? Сближаемся, вокруг пустыня.

Бывший дантист, то есть поклонник Данта, бывший юрист, то есть просто Юрка, позднее он вырос в приличного музыканта, а также в весьма приличного драматурга. Нет, он не в Палестине.

И не в Берлине. Не в ЭлЭй и не в ДиСи. Остался *тута*. Кто-то ведь должен был позитивно оккупировать данную территорию. Из великой традиции нелегко выпрыгнуть с парашютом. Ностальгия так или иначе привязывает к истории. В положительном смысле.

Сближаемся, он поднимает руки, как бы восклицая: «Вася!» Кто бы подумал, так вот запросто, собственной персоной, *тута*! Почему же что-то отрицательное видится мне сейчас в его ипостаси? Как будто он не был когда-то душой стоматологического или физико-технического института. Как будто все-таки смылся.

Смылся и несколько видоизменился. Приобрел некоторый негатив противовесом к своей позитивной каррикулум витэ. Юра Ренье. Он даже здесь, в окрестном доме творчества, среди ублюдков-писателей слыл положительным героем. Обожал соседских девятиклассниц, пионеров феллацио. Учил их слушать джаз. Джаз надо уметь слушать, девчонки! Не просто притоптывать. Знаменитые негры говорят: джаз надо есть. Ит-ит, вот так-то. Стоит также научиться двигаться в джазовой волне. Двадцатый век убывает, девчонки, учитесь, пока не поздно. Потом он стал жениться на этих девятиклассницах, то на одной, то на другой, всего их было не менее трех. Нередко приезжал с ними то в Коктебель, то в Домбай, знакомил с персонажами романа «Ожог», не к ночи будь помянут. Он знал этот роман почти наизусть, под гитару мог петь его целыми главами. Иногда отправлялся на последние деньги в отдаленный город, скажем, в Москву, если там обнаруживался кусок черновика со сквернословиями. Что касается денег, то у него их не было никогда, однако всегда доставал, если товарищ нуждался. Алкоголь его не колыхал, но за компанию без промедления гудел на славу этот Юра Ренье, представитель своего поколения. Вот это у него было обострено до высочайшей степени. Еще в школе грезил баррикадами Будапешта. Не обошла его своей сыпью и поэтическая лихорадка. Вместе со всеми он уходил в подполье и выныривал оттуда, сияя детскими глазками и потрясая очками в проволочной оправе. Мы наступаем, старики! Мы снова идем вперед! Так он вступил в «Клуб кино имени Хичкока» при ЦК комсомола Латвии для того, чтобы там устроить манифестацию своего поколения с джазом, сюрреализмом и кришнаизмом, за что был бит внуками «красных стрелков». Эх, Юра Ренье, ты забросил блистательный зубопротезный и физико-математический бизнес для того, чтобы быть со «своими», то есть с теми самыми 0,01 процента, что не голосовали за коммунизм. К тебе относились с улыбкой, хотя ты представлял еще меньшую величину, то есть одну тысячную процента, то есть настоящих положительных героев, тогда как большинство меньшинства были либо притворами, либо неврастениками. Ты прошел через все «подписантства» и «отказничества», а когда распался «отказ», ты остался, потому что подспудно всегда понимал положительность своей роли, то есть знал, что без тебя невозможно. Откуда он взялся здесь в сей мезозойский час и почему направляется прямо ко мне через миллиард совпадений? Я ни разу не вспомнил о нем за пятнадцать лет – и вот такая замечательная встреча. Он приближается с нарастающей улыбкой. К чему мне готовиться – к рукопожатию, к объятию, к поцелую? Как мне понять внезапную отрицательность этого позитива?

Птеродактиль заканчивает затянувшийся полет. Опускается к опустошенному пляжу. Из-под крыльев ухмыляется очкастый пилот. ВВС балтийской страны. Задница в камуфляже. Все чин по чину.

Все так же на горизонте маячит плавкран. Тщится взглянуть в белесое завтра. Не дотянули решающий пятилетний план. Бросили внушительного динозавра. Клевать железную мертвечину.

Юра Ренья между тем по-прежнему в своей роли. Приближаясь, сияет совиным личиком молодым. В обрамлении или, лучше сказать, в ореоле. Белоснежных косм и седой бороды. Вот в чем причина.

2. Три шинели и Нос

Постоянно причисляемый к «шестидесятникам», я и сам себя таковым считал, пока вдруг не вспомнил, что в 1960 году мне уже исполнилось двадцать восемь. Лермонтовский возраст, этот постоянный упрек российскому литератору, пришелся на пятидесятые, и, стало быть, я уже скорее «пятидесятник», то есть еще хуже.

Стиляжные пятидесятые, тайные экскурсии в Чаттанугу! В моем случае эта экскурсия в конце концов из тайной стала явной, поскольку в 1980-м я получил пинок красным лаптем под задницу.

Приятен мне, господа, русский суффикс «яга». Идет он, несомненно, от скифов и пахнет кочевой чертовщиной. Всегда осязаю его присутствие, когда думаю о том, как «комму-няга» ненавидел «стилягу», как он, «бедняга», немного подох, а стилиага, оказывается, еще немного жив, «доходяга». В этом ключе можно и в индейскую Чаттанугу всунуть дольку скифского чесноку, тогда у нас все закончатся.

Прошлым летом Виктор Славкин пригласил меня на премьеру своего фильма о «пятидесятниках». Бывшие стилиаги рассказывали в этом фильме о своей молодости. Каждого из них режиссер усаживал на просторное сиденье открытого ЗИСа и снимал с одной точки во время проезда по Москве. Эффект получался любопытный. Пожилой человек пытается что-то вспомнить, говорит вяло, неинтересно и вдруг замечает какой-то перекресток, арку какого-нибудь памятного ему дома, и тогда сквозь опустившиеся брылы и набухшие подглазья пролетает искра, и вы на мгновение видите перед собой мальчишку тех времен сорокалетней давности.

Во время дискуссии Славкин предложил мне выступить, поделиться воспоминаниями о стилиажных пятидесятых. Признаться, мне не хотелось говорить. После учебного года в американском университете в Москве вообще-то хочется помолчать. Вдруг в зале я увидел знакомое лицо – впоследствии выяснилось, что это была дочь одной девчонки из нашей молодой компании, – и как-то сразу возникла череда сцен, «полусмешных, полупечальных», странный парафраз к одной из моих нынешних университетских тем, к «Гоголиане». Теперь все это превращается в рассказ.

Я никогда не был стилиагой в гордом и демоническом смысле слова. Скорее уж я был жалким подражателем, провинциальной стилиажкой. Иной раз во время каникулярных поездок из Казани в Москву или Питер я видел группки немыслимых гордецов в узких брюках и ботинках на толстой подошве, с набриолиненными башками стоящих возле «Авроры» на Петровских линиях или возле «Астории» на Исаакиевской. Набриолиненная башка была, пожалуй, самым доступным атрибутом из стилиажного набора, и мы с такими башками собирались на танцах в казанском Доме ученых. Что касается шмоток, то тут от нас за версту разило халтурой, потугами провинциальных «телеграфистов».

Между тем на экраны каким-то чудом прошел французский фильм «Их было пятеро». Там герой таскался в пиджаке со сверхразмерными плечами и длинной шлицей через всю задницу. Он даже, кажется, что-то говорил об этом пиджаке своей девушке: вот, мол, видишь, какой у меня американский пиджак! Вдвоем с молодым портняжкой мы решили замастырить такой пиджак из местных материалов. Облазив все магазины, нашли ткань в мелкую клетку. Портняжка трудился три недели и наконец сказал, довольный и гордый: «Ну вот, Васек, теперь ты у меня в порядке, как пограничник!» Какое отношение я имею к пограничнику в таком «клевом» пиджаке, я не спросил и полетел, то застегиваясь, то расстегиваясь, развеваясь шлицей и напевая стилиажный «сумбур вместо музыки».

Однажды дяде сшили новый китель,

В обтяжку
Он на нем сидел.
Но после долгой глажки
Усердного портняжки
Тот китель
Вверх тормашкой
Полетел!
О, миледи!
Тот китель
Вверх тормашкой
Полетел!

Едва я появился в своем новом пиджаке на курсе, как сразу же стал объектом комсомольской сатиры. В стенгазете «Лечфаковец» тиснули карикатуру с рифмованной подписью:

Этот клетчатый пиджак
Был хорош бы для стилияг,
Ну а вас, сокурсник Вася,
Он совсем, совсем не красит!

Таким образом мединститут меня вписал в свою малочисленную команду мальчиков для битья, и с тех пор в каждом выпуске «Лечфаковца» я находил что-нибудь о себе под рубрикой «Кривое зеркало». Только много лет спустя я узнал, что все эти стишки и карикатуры на меня тщательно собирались местной гэбухой, поскольку я находился у них «в разработке», но это особая тема.

Вьюноша всегда мечтает стать частью городской мифологии, и поэтому я был очень вдохновлен, когда меня в моем пиджаке стали приглашать постоять с ними другие персонажи «окон сатиры», а именно: Владик «Крукса», Сережа Елкин-Палкин, Ирина «Домино», Ушанги Амбердыдзендзиашвили. Увы, постоять с ними возле мраморного льва на главной улице я мог только поздней весной или ранней осенью. В холодное время я ко льву старался не приближаться в связи с отсутствием соответствующей «упаковки».

Сейчас могу признаться: я ненавидел свое зимнее пальто больше, чем Иосифа Виссарионовича Сталина. Это изделие, казалось, было специально спроектировано для уничтожения человеческого достоинства: пудовый драпец с ватином, мерзейший «котиковый» воротник, тесные плечи, коровий загривок, кривая пола. Студенты в этих пальто напоминали толпу пожилых бюрократов.

И вдруг однажды сверкнул мне «луч света в темном царстве». В тот день, подлеиший мартовский слякodenь, забрел я в комиссионку на Кольце. Обычная дыра, завешанная траченными молью бухарскими коврами и чернобурками, заставленная китайскими вазами и термосами. И все-таки эти нафталинные лавки имели какое-то отношение к городской мифологии. Об этой на Кольце, в частности, было известно, что в ней Сережа Елкин-Палкин купил когда-то набор иностранных пластинок с собакой возле раструба граммофона, из которого доносится голос ее любимого хозяина.

Едва лишь я в тот день подошел к этой комиссионке, как из нее вышел мужчина лет на десять старше меня, не кто иной, как джазист-«шанхаец» Герман Грамматиевич. Он был без пальто.

Эти «шанхайцы», молодые русские патриоты, играли еще недавно в большом оркестре и развлекали буржуазную публику в огромном городе на реке Хуанпу. Грандиозные победы красных орд товарища Мао Цзэдуна подтолкнули весь оркестр выехать на историческую

родину. Джазисты еще не догадывались, что история там в данный момент повернулась задницей к подобным американизированным биг-бэндам. Неся с собой репертуар Гленна Миллера и Вуди Германа, они думали: вот тебе, любимая родина, все лучшее, чему научились молодые патриоты на реке Хуанпу!

Благодарность родины оставляла желать много лучшего, однако не дотянула и до худшего. Могла бы ведь и полоснуть поперек пюпитров, однако вместо этого просто пенделем под зад вышвырнула космополитическую заразу в пыльный Зеленодольск, штаб-квартиру умирающей Волжской военной флотилии, с ее плоскодонными крупнопушечными мониторами. Там козы толпой проходили под вечер по главной улице, что давало возможность джазистам сравнить их бляение со звуками международного сэттльмента в Шанхае.

Вдруг неизвестно откуда пришло смягчение для патриотов: разрешено перебазироваться в Казань и там перейти на одиночное репатриантское существование. До сих пор не понимаю, почему наша родина вдруг проявила такой либерализм и не отправила лабухов на свои колымские уголья вместо университетского города, где уже с жадностью подрастало новое студенческое поколение. Так или иначе, «шанхайцы» рассосались в Казани по ресторанам, кинотеатрам и клубам, где стали исполнять утвержденный реперткомом набор народной музыки. И все-таки, и все-таки иногда «под балдой», перемигнувшись с публикой, они вдруг выдавали свой свинг, растягивая перед местной жалкой молодежью огромные медные закаты внешнего мира.

Итак, это был один из них, из нездешних, некий барабанщик Гоша Грамматиевич, который, сдав последнее пальто в комиссионку, теперь налегке скользил к магазину «Винаводы». Через минуту я уже смотрел на пальто Грамматиевича из-за китайской вазы. Под эгидой Китая в тот день сцепилась связь времен, распавшаяся ранее под эгидой России. Из-за вазы с драконами русский юнец взирал на американское пальто, купленное когда-то на реке Хуанпу. Хоть и неуклюжая, но все-таки попытка найти гармонию в экзистенциальном хаосе.

Среди обычных советских черных и коричневых колоров дерзко выделялось пятно верблюжьего цвета, свисал пояс с металлической, не наших очертаний, пряжкой. Невинно пялились невиданные пуговицы, похожие на треснувшие орехи. Лучше сразу уйти, это пальто стоит пять тысяч. Даже если продам «Балтику» и «Кировские», не наберу и на треть. Крукс его купит через двадцать минут на обратном пути с тренировки по поднятию тяжестей. Лучше сразу разворачиваться, нам оно не по чину.

Здравствуйте, нет ли у вас демисезонного пальто на мой рост? Нет ничего приличного, молодой человек. А вот это, например? Вот это желтое, что ли? Что ж, вы такое носить будете? Ну, просто попробовать. Ну, не советую.

Вот оно в руках, блаженное, шелковистое прикосновение. А где же ценник, ценник-то? Каков сюрприз, пальто стоит не 5000, а всего лишь 500, всего лишь две месячные стипендии! На пряжке внутри фирменные буквы: Jennings! Внутренние органы неприлично затропились. Пряжка с зубчиками. Пояс немного залохматился. Это из-за зубчиков, так и полагается. Да ему сто лет, этому пальтишке, молодой человек. Послушайте, дорогая девушка, будьте человеком, отложите его для меня! Я через два часа, через час приду с деньгами! Ну, вы комик, молодой человек! Да вы хоть примерьте!

Что ж тут примерять-то, и так все ясно. Это пальто, как Лоуренс Аравийский, скакало ко мне всю свою долгую жизнь. То львицей вздувалось оно, то опадало шкурой львицы. Оно всегда жаждало меня, дорогая неуродливая продавщица! Оно всегда пылало ко мне, хоть и болталось на плечах барабанщика! Оно в конце концов ушло от него, и вовсе не оттого, что Гоша пропился в дым и задолжался швейцару Туго, а оттого, что почувствовало мою близость. Дорогая Нина Васильевна, происходит не коммерческий акт, а предначертанная встреча взаиможаждущих особ, волжского мальчика и американского Верблюдо. Верлибром вертелось блаженное Верблюдо, блюдя веритуту бананом на блюде, не так ли?!

Итак, оно мое, и пусть не хватает одной ореховой пуговицы, а вместо нее неверной рукой, умеющей только выколачивать брейки в «Сент-Луис Блюз», пришита советская офицерская, и пусть межлопаточная поверхность имеет тенденцию к быстрому пропуску дующего в спину ветра, и пусть пояс залохматился под естественным влиянием зубчиков, и пусть обшлага и полы чуть-чуть завельветились, и пусть, и пусть! О Верблюдо!

Вместе с этим пальто мы стали углубляться в почти антисоветскую молодость. Оно помогло мне пережить исключение из Казанского мединститута. Может быть, именно оно подсказало мне укрыться в Москве. Им я и укрывался во время ночевки на московских вокзалах, среди могучей щусевской архитектуры. Через межлопаточное пространство уже начинали просвечивать державные люстры. Веселая тетя Наташа, прибывшая в Москву для «спасения ребенка», всплеснула руками: «Васька, да ты люмпен! Что я напишу в Магадан Жене?!»

Ни мать, ни тетка, ни сам вечно чихающий студент-люмпен не подозревали, что подходит его срок вместо американского Верблюдо примерить лагерный ватник. Только спустя много лет стало известно, что изгнание из института было прелюдией ареста. Малая родина склонна к предательству не менее, чем большая, но это, конечно, особая тема.

Переехав в Питер, я оказался под опекой тетки. При всем веселом нраве она была носителем здравого смысла. Маме была отправлена депеша с описанием скандального рубища. Мать с гневом прислала ей деньги, чтобы купить мне новое, настоящее пальто. Засим мы отправились на Обводный канал во Фрунзенский универмаг. Там под тяжестью советской одежды гнулись металлические вешалки. Тетка с бесконечными ифлийскими хохлизмами, но неумолимо – «волею пославшей мя сестры!» – выбрала нечто стахановское и тут же повлекла племянника в фотоателье для выполнения подтверждающего акцию снимка. Даже без следа иронии на бледном, отретушированном лице позирую в виде положительного героя соцреализма.

Как ни странно, совсем не помню сейчас, как испарилось мое злокозненное Верблюдо с его протертой уже до нитяной структуры спиной, с поясом, на котором зубчики уже не знали, за что зацепиться, с вермишельными рукавами, оно, так ярко осветившее мою раннюю молодость и взбудоражившее двух сестер Гинзбург, разделенных пространством в двенадцать часовых зон. Может быть, и впрямь испарилось, сделав свое дело, сняв с юнца советский номерной знак, вдруг в пьяной питерской ночи малой шкуркой, обрывком закатной тучки поднялось, подобно «небесным верблюжатам» Елены Гуро, над крутыми склонами Исаакия и там, достигнув уже нематериальной ветхости, как раз и испарилось?

«Этой штуке место в ломбарде», – взвесив фрунзенское добро, сказал мне мой новый балтийский друг Михаил Карповиус. Этот узколицый молодой человек в резко сдвинутом набор литовском берете, помимо многих других открытий, открыл для меня существование ломбарда, то есть воплотил литературную ситуацию в жизнь.

Благо было уже тепло и мы щеголяли в китайских плащишках. Быстро в плащишках перемещались из одной клиники в другую, интересуясь не столько больными, сколько сокурсницами, и, в частности, высокой рыжей девушкой, Леной Горн, о которой «на потоке» говорили, что она «дает с ходу», и которая смотрела на нас всех с нескрываемым презрением.

Осенью я «построил» себе другое пальто, неплохую замену моему растворившемуся Верблюдо. К тому времени Америку в наших сердцах резко отодвинула Франция. Приехал стриженный ежом Ив Монтан. В пивных мы имитировали его шансоны. Вот, вообразите, заходишь в какое-нибудь прокисшее пролетарское заведение, а там компания поддых молодых хором исполняет: «Я так хочу хотя бы раз Кольцо Больших Бульваров обойти в вечерний час!» Вот вам удар по вашим стереотипам, господа западные филологи и рома-

нисты. В заведении, именуемом «Пиво завода имени Стеньки Разина», вы ждете услышать «Из-за острова на стрежень», узреть что-нибудь надрывное, подноготное, а вместо этого перед вами мельтешит толпа петербургских буршей, голосащая: «C'est a loin, loin; Oh, les pays lointains...»⁵, а один из этих выпивох бродит от стола к столу в ивмонтановском пальто внакидку да еще и в трехцветном шарфе – *Liberte, Egalite, Fraternite*, – связанном сокурницей и на тридцать пять лет опередившем российские стяги Августовской революции.

В этом пальто в ту осень мечталось не «хиляние по Броду», а сопротивление на будапештских баррикадах. Однажды как-то на Мойке или на канале Грибоедова, вывалившись толпой из очередного препыхабнейшего заведения, начали шуметь: «Сколько же можно терпеть?! Давай начинаем, студенты! Руки прочь от Венгрии, сволочь сталинская! Завтра выходим на демонстрацию! За нами весь Невский пойдет! А потом и весь Путиловский! Завтра вот здесь и начнем в шесть часов вечера перед восстанием!» После шумства разбрелись в разные стороны, трепеща и предвкушая жертвенный подвиг. Полночи я тащился в сторону моего тогдашнего жилья по самому западному в городе адресу, на Лесную Гребенку. Тусклая геометрия бывшего Петербурга подставляла мне свои острые углы. Тумбы и водопроводные люки вступали в противоречия с гравитацией. Пару раз заехал в морду оккупанту, то есть со всего размаху по водосточной трубе.

Вдруг враждебная морось и слякоть материализовались тремя субъектами, виртуозами припортового гоп-стопа. В буквальном смысле, как Акакия Акакиевича, они вытряхнули меня из моего нового пальто. «Что за шутки?!» – возопил я и обнаружил вокруг себя полнейшую пустоту, среду, как говорится, максимального отчуждения. Не было даже луны, чтобы надо мной посмеяться. Остатнюю часть пути я не мог с определенностью сказать, где я нахожусь: в середине ли страницы альбома, в котором сейчас эту историю записываю, – альбома, подаренного поэтическим другом русско-татарско-итальянского происхождения и крытого скромным куском вельвета с беленькими цветочками, или посередине улицы, проявившей гнусную суть свою в бестрамвайные часы разбойной ночи, – улицы все тех же, ничуть не изменившихся петербургских призраков и чертей, охотников за нашими дражайшими шинелями, насильников нашей дражайшей юности, и куда направляюсь: в американскую ли, инспирированную ОПОРЗом славистику или на Лесную Гребенку плакаться в жилет Мише Карповиусу.

Припоминается, что на следующий день, в пиджачке, я все-таки оказался в районе Церкви-на-Крови, где намечалось возведение первой ленинградской баррикады, однако никого и ничего там не нашел, кроме развалюхи грузовика с бочкотарой. Все мятежники, должно быть, как и я сам, то ли опоздали, то ли слишком поторопились. Короче говоря, восстание не состоялось.

Реализм подступал со своими проклятыми вопросами, дул под пиджачишко, напоминая то, что учили в институте о воспалении седалищного нерва. Где взять пальто? Ведь не строить же заново! «Мы тебе в порту купим мантию с подкладкой», – утешал Карповиус. Да на какие же шиши? Отсутствие «шишей» создавало пограничную, «лиминальную» ситуацию, вне которой не могла возникнуть молодая проза, как это позднее выяснилось. Даже Двадцатый съезд нашей партии, положивший конец злоупотреблениям «культу личности», не вызывал желания слиться с народом в его новом трудовом порыве. Напротив, в вечерних ледяных штатаниях все чаще выплывал перед наследниками Башмачкина какой-то сквозной, сквозь всю непогоду, отрыв.

Лена Горн расхохоталась всей своей развевающейся медью: «Да вы, Василий, и впрямь дрожите, милейший, словно Акакий Акакиевич!» Она шла по Невскому в сопровождении

⁵ «Это там, далеко-далеко; О, дальние страны...» (франц.).

Носа. По совершенно случайному совпадению ее спутника так и звали – Нос, в том смысле, что был он, конечно, Носов. Некоронованный король Невского, главный стилиста, идеально сложенный и идеально одетый Нос. Очень прямой, руки почти всегда в карманах, с немного преувеличенной из-за прически, хорошей, лобастой головой, с многообещающей улыбкой, Нос.

«Закаляешься, старый?» – спросил Нос Башмачкина с радушием обитателя Букингемского дворца при обращении к солдату караула.

Они прошли, но Лена на секунду обернулась, очевидно, чтобы увидеть, как летит под ледяным ветром единственный оставшийся у меня утеплитель, триколор свободы. А я нырнул в подвальчик, благо тогда немало на Невском было таких подвальчиков с водкой в розлив и с разлитыми разговорами.

Неунывающий Карповиус предложил несколько способов увеличения денег. Ну вот, например: одалживаемся в общегитии у Гренадерского моста и выкупаем из ломбарда «то, твое», а потом продаем дешевле госцены, но в два раза дороже залога. Ну вот еще: набираем ночных дежурств на Карантинке, оплачиваются вдвойне. Ну еще что-нибудь, например: тайком, чтобы не уронить медицинский престиж, нанимаемся мыть стекла на Лесной Гребенке. Поставим бутылку коменданту, он нам выпишет на пару, вдвойне. Всюду этому оптимисту в те ранние годы виделся двойной выигрыш. Он еще не знал, что через год уйдет в океан, и рулетка закрутится в его пользу сверх ожиданий: вдвое, втрое, в сто раз на несколько лет, пока он вдруг не рухнет и не задохнется в тоске, в развале и в собственных извержениях.

Как ни странно, все способы Карповиуса тогда более или менее сработали. К ним прибавилась еще сумма, одолженная у однокурсниц, и в результате появилась возможность еще раз пригласить читателей в комиссионный магазин, теперь уже на Невском. Опять ковры и китайские вазы плюс несколько статуэток Будды с ярлычками: «Буда простая, медная». Вдруг молодой продавец, волосы «под канадку», поманил меня пальцем с печатным кольцом. «Я вижу, ты из наших», – сказал он. «Офкос», – подтвердил я на языке порта. «Палец нужен?» – спросил он. «Вот именно палец и ищу!» – едва ли не вскричал Башмачкин послесталинской формации. «Тогда считай, что тебе повезло!» Он бросил на прилавок нечто светло-серое, плотного сукна, и в ту же долю секунды, пока брошенное еще успокаивалось на прилавке, я понял, что опять случилось в жизни нечто чудесное, что это пальто ко мне прямо из Парижа залетело, что в нем нет никакой «самостроковской» утрировки, один лишь европейский стиль 1956 года, когда кумиром Левого берега Сены был некий реакционный писатель, месть Альбер Камю.

Все эти дела с разными берегами Сены, с Альбером Камю и его эссе «Бунтующий человек» были нам еще неведомы, они пришли позднее, однако мне кажется, что я уже и тогда, осенью 1956-го, каким-то предлитературным чутьем предполагал их существование. Сознание послесталинских мальчиков совершало иной раз непредсказуемые выражения. Ну, вот, например, про упомянутого уже певца Больших Бульваров Ива Монтана пресса с придыханием писала, что он «убежденный коммунист», а Миша Карповиус по этому поводу глубокомысленно изрекал: «Если уж там даже коммунисты такие, то чего же ждать от беспартийных?!»

«Прикинь!» – говорит мне молодой продавец «из наших». Прикидываю. «Ты в порядке!» – ухмыляется он. Карповиус из-за стекла (он уже на Невском с двумя девушками объясняется) показывает мне два больших пальца. «Этот палец сегодня Нос приволок, – говорит продавец и кивает со сдержанной гордостью. – Вот именно, сам Нос. Ему эту штуку Левка Волков отстрочил по французским выкройкам». Меня охватывает странное, едва ли не мистическое чувство. «А что же он сам-то, Нос-то, не носит?» – «Раздался в плечах, – поясняет продавец. – Как начал с Ленкой Горн гулять, так раздался в плечах. Только что сшил, и вот весь малость вздулся в верхних частях: плечи, грудь, холка. Теперь, говорит, новое

буду шить, а это, говорит, Игореша, продай с умом, то есть кому-нибудь из понимающих». Мистическое чувство усиливается. Нос только притворялся, что шьет себе. В глубине своей сути он, конечно, понимал, что новое пальто переключает к другому персонажу. Плечи, грудь, холка, раздувшиеся из-за любви к медичке, – это просто отговорки. Литературная метафизика торжествует!

Весь остаток вечера мы дефилировали по Невскому, Карповиус в своем клайпедском кожане и я в пальто от Носа. На Невском тем временем развивалась сенсация: шел герой молодежи Михаил Козаков, то есть красавец-негодяй из фильма «Убийство на улице Данте». Шарф брошен через плечо, горит драматический глаз. За ним – куча поклонников, у всех шарфы через плечо, в зрачках свеча. Мы с Карповиусом присоединяемся. Кумир заходит в рюмочную. Широкий жест: «Всех угощаю! Выпьем за искусство, за будущее!» Еще по одной, еще по новой! Не осквернять же эти мгновения мокрыми бутербродами с килькой, похожей на ржавое серебро гниющего сарацина. Пьем без закуски.

Далее все разрастающаяся свита (кажется, уже без предводителя) направляется в кино-театр «Хроника», где идет боевой документ «Разгром контрреволюции в Венгрии». Мы с Карповиусом смотрим его уже пятый раз, поскольку там крупным планом фигурирует вчерашний сокурсник Жига Топай. Диктор зловещим голосом вещает: «На второй день к кино-театру „Корвин“ стали стекаться грузовики с реакционным отребьем». Близко к камере проходит «Татра», у нее в кузове толпа молодых ребят, все они кажутся нам однокурсниками. Укрупняется до полной узнаваемости фигура собутыльника Жиги Топай, получившего в институте известность своим романом с поварихой клиники профессора Углова. Он в таком же пальто, как теперь у меня, только на груди у него автомат Калашникова. Любовник поварихи и одновременно еще полудюжины дам из больницы Эрисмана оказался отважным антисталинистом! На выходе Карповиус кладет мне руку на плечо: «Жаль, что нас там не было». В толпе несколько человек оборачиваются и внимательно смотрят на нас.

За время просмотра Невский еще больше вошел в раж. Непонятно, по какому поводу эта толпа к десяти часам вечера впадает в такое возбуждение. «В кабаках, в переулках, в извивах (в каких еще извивах, Александр Александрович, если это не просто для рифмы?). В электрическом сне наяву Я искал бесконечно красивых И беспечно влюбленных в молву...» Цитируется по памяти, она же, любезная, подсказывает, что тогда, осенью 1956 года, в толпе на Невском нередко мелькали вот именно те, «бесконечно красивые», которые в моем затянувшемся юношеском воображении относились к блоковскому урбанизму, к темным отшлифованным гранитам и матовым мраморам, к извивам (ага, вот они, извивы!) бронзы и чугуна, еще оставшимся от Серебряного века и еще как бы живым.

Молодежь, как известно, никого не замечает на улице, кроме самое себя. Так и я, очевидно, не видел в тот вечер большинства ленинградской толпы и уж тем более не видел ее жлобов или, как тогда там говорили, «скобарей». В новом, «носовском» пальто я ощущал себя одним из тех, «бесконечно красивых», и был уверен, что со мной этой ночью произойдет что-то необычное.

Карповиус пропал, с ним это постоянно случалось в ту осень. Естественно, вскоре я обнаружил себя в подвальчике «Советское шампанское», что на углу Невского и Садовой. В те времена там сливали в тонкостенных стаканах весьма эффективную смесь: сотку коньяку и сотку СШ. К этому еще присовокуплялась, «для культуры», большая шоколадная конфетина. «Пора!» – сказал я после первого стакана, таща второй. «Куда?» – спросила меня восхищенная масса. «На баррикады, – любезно пояснил я. – Сегодня в городе начинается восстание». «Какое еще такое восстание в колыбели революции? – скандально удивились массы. – Соображаешь, о чем говоришь, ты, кент?» «Восстание за свободу, – продолжал уточнять я. – В знак солидарности с растерзанным Будапештом. Все на баррикады, ребята! Ура!» То одно, то другое приближались ко мне отвратные советские лица или, как автор «Шинели» и

«Носа» их называл, «кувшинные рыла». «Давай, тащи его в милицию, товарищи! Агитатор – оттуда!»

Двое длинноруких выволокли меня наружу под скандинавский восторженный ветер. Ничего не стоит смахнуть таких падл, винегретных, отблеванных гадов! Почему-то не получалось. Двое патриотов Страны Советов вцепились мне в плечи, в мое парижское пальто, не отодрать! «Давай тащи агитатора! Вон мент стоит! Товарищ милиционер, контру поймали!» У них не получалось меня тащить, у меня не получалось их отодрать. «Товарищи прохожие, помогите стилигу в милицию сдать! О Венгрии болтает!» Товарищи прохожие, ни черта не разбирая среди гудков, звонков, свиста ветра, спешили пройти: подобных сцен, когда двое висят на одном, по всему Невскому было немало.

Мент наконец заметил непорядок, начал приближаться. «Что за базар? Предъявите документы!» Отодрав пару щупальцев, вытягиваю паспорт с законной ленинградской пропиской. «Все в порядке, гражданин, – говорит мент и с некоторым рыком поворачивается к бдительным. – А ваши где паспорта, гопа?» Бдительные, хлюпая от обиды, вопят: «У контриков, у шпионов паспорта всегда в порядке! Ты что, сержант, не понимаешь политической подоплеки? Бдительности тебя не учили?» Мент морщится: вот схлопотал на собственную задницу самодеятельности! Надо было в другую сторону пойти. Ищет взглядом своих. Вон, кажись, торчат две башки в фуражках. Достает свисток. «Ну, давайте разбираться!»

«Этап на Север, срока огромные!» – сдуру запел я. Вижу себя в колонне магаданских зэков, тащимся из порта в санпропускник. Включается демагогия. «Эй, эй, сейчас не те времена! Партия сказала, к прошлому возврата нет!» Две фуражки приближаются. Останавливаются любопытные. Приключение достигает высшей точки. Арест на Невском молодой контры.

Вдруг оказывается, что повороты сюжета еще не исчерпаны. Из толпы выделяется быстрый, лисий перелив меха, взлетает рыжая грива, энергичной цитатой проходит, как молния, какая-то молодая дама, «у которой всякая часть тела исполнена необыкновенного движения». Я всегда подозревал, что классика в этой части города сильно отдает модерном. Она приостанавливается и оказывается все той же Ленкой Горн с нашего курса. «Вася, что это с вами? Что вы тут с этими скобарями не поделили?» И вслед за ней, раздвигая толпу плечами, появляется, разумеется, Нос, на самом деле как-то основательно раздавленный в плечах и весь как бы светящийся малиновой мужской энергией. «Что за шум, а драки нет?»

Это тут какие-то без прописки какого-то с пропиской. Да я на «Доске почета» в номерном предприятии, товарищи милиционеры! Давай, машину вызывай! А вот этого я бы вам не советовал. А ты кто такой, чтобы советовать? Я бы на вашем месте мне не тыкал. Они тут все, стилиги, друг за друга, контрики! Родную нашу советскую власть порочат! Который тут контрик, вот этот, в шинельном, что ли? Я бы на вашем месте взял свои слова обратно. Товарищи, вы что, не понимаете, перед вами будущий знаменитый писатель, не трогайте его! А вы, товарищ красивая женщина, поберегли бы свою репутацию! Это вот этот, в шинельном, что ли? Ну-ка, гражданин в шинельном и вы двое без прописки, давайте-давайте в машину!

Меня, которого менты почему-то называли «этот в шинельном», и тех длинноруких от патриотизма «скобарей» начинают тыкать к машине, которая гостеприимно раскрывает свое заднее вместилище. Вдруг происходит еще одно, как бы Карповиус сказал, «сценическое движение». Нос предъявляет милиции красную книжечку в ладони. Вспыхивают, проносясь мимо меня, три золотые буквы. Решимость милиции мгновенно улетучивается. Козырнув Носу, сотрудники удаляются. С пустым задком отъезжает и гостеприимная машина. Энтузиастов отечества Нос прогоняет легким «пенделем», одним на двоих.

Когда все это так просто закончилось, мы пошли втроем в сторону Адмиралтейства. По законам какой-то неведомой композиции в этом месте напрашивается промельк пейзажа.

Ну луна, конечно, ну шпиль. Круглое и острое, отсвечивая друг от друга, доминировали в очищенном от туч и почти морозном небе: баста!

Не могу сказать, что неожиданная метаморфоза главного питерского стилиста очень меня вдохновила.

«Хотел бы я знать, почему меня менты называли „этот в шинельном“, – сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать. Нос хохотнул: „Да у тебя же, старый, пальто из офицерского сукна Советской Армии. Это моему батюшке сверхурочный отрез выдали в штабе округа. Неплохо его Левка Волков отстрочил, правда? Жаль, что мне самому не подошел этот пальтец по известным обстоятельствам“. С улыбкой он повернул всю верхнюю часть своего тела, включая превосходную голову, к своей подруге. Та передернула плечами: „Неуместно, Нос!“ Она, казалось, больше интересовалась мною: „А я и не знала, что у вас определенные взгляды, Василий!“

Я чувствовал себя так, будто меня снова вытряхнули из пальто. «Я своих взглядов не скрываю».

«И правильно делаешь, старый!» – бодро сказал Нос.

«Можешь доложить там, в вашей организации», – буркнул я.

«В какой еще организации?» – удивился он.

«В той, которая тебе книжечку выдала с тремя буквами».

Он как-то странно, даже как бы невероятно расхохотался. Остановилась изумленная Лена. Остановился изумленный я. Смех как будто шел не из данного тела, а как будто рикошетом от столба к столбу ниоткуда, с завихрением под Аркой Главного штаба.

«Вот чудак, – сказал мне Нос, – ты, наверное, не успел рассмотреть моей книжечки. На ней и впрямь три буквы, да не те!» Он снова выхватил из кармана эту секретную книжечку и продемонстрировал ее в глубине своей раздувшейся и перетянутой линиями судьбы ладони. На книжечке читалось: НОС.

Мы оба, Лена и я, просияли. Вернулось прежнее восхищение этим парнем, хозяином Невского проспекта.

«Пока все, – сказал он и приложил два пальца к основанию своего „канадского кока“. – Не буду задерживать, попросту испаряюсь. Если найдешь меня в кармане шинели, просто брось в Неву с Дворцового моста. Схвачено?»

Недавно на одном приеме в честь члена правительства новой демократической России произошел любопытный разговор.

«Что там говорить, господа, – произнес с хорошей улыбкой член правительства. – Все мы с вами все-таки вышли из коммунистической партии».

«Нет, не все, – возразил я. – Некоторые все-таки вышли из шинели. В моем случае, даже из трех».

Неслышно подошедший старый поэт Вознесенский сделал добавление: «А некоторые даже из носа. Кто из левой ноздри, а кто из правой...»

II. За год до начала войны

За год до начала войны
Я зарулил в Дубровник,
Чьи граждане часто пьяны,
И всяк сам себе полковник.
Шикарный отель «Бельвью»
Спускался в лазурь Ядрана.
Подыгрывали соловью
Далматинские фонтаны.
Террасы, арки, углы...
Отель не по общей мерке.
Позднее его сожгли
Белградские канонерки.
За год до войны Балкан
Был сам себе не в обузу.
На башне стучал барабан,
Сзывал фестиваль в Рагузу.
Итало-славянский лицей
Все спорил о приоритете:
Кто там торговал сольцой,
А кто заседал в совете,
И где там бродил Роланд.
Тысячелетние враки
Разыгрывались в ролях,
Трепались в пивных на Плаке.
Тридцатилетним юнцом
Я был здесь когда-то впервые.
Теперь с постаревшим лицом
И щедрыми чаевыми
В кармане холщовых брюк
Сажу в кафе знаменитом.
Профессор дутых наук.
Но с пластиковым кредитом.
К моему столу направляется пара, молодые американцы.
Кажется, что это просто рекламный трюк:
У нее походка, как примеры танца,
У него на плечи хоть взваливай сундук,
Щеки у гадов, что твои померанцы,
Зубы – хоть раскалывай окаменевший фундук.
Кажется, это мои студенты, ей я вроде поставил
«Эй»,
А ему «Би-плас», но может быть наоборот.
Она рассказывала вроде про Достоевского
«Чертей»,
А он как будто подзабыл, кто такой Филипп Рот.
Откуда такое добродушие

В стране, где так споро спускают курок?
От улыбок у обоих трещат заушины.
Ну вот вам и реклама: пей грейпфрутовый сок!
Welcome, welcome! Сиденья свободны!
Присаживайтесь, ребята, ваш профессор не jerk!
Они приземляются, два тигра голодных.
Солнце опускается, но день еще не померк,
Ренессансные ласточки кружат над шпилем,
Открывают окно, и барокко Рагузы идет, как волна от борта.
Кажется, с вами мы Достоевского «Чертей» проходили?
Зубрили! Долбили!
А с вами мы, кажется, подзабыли малость
Филиппа Рта?
Тра-та-та!
Масса совпадений, множество узнаваний!
Линда сияет, похохатывает Бретт.
Если только не перепутали мы тут кузницу знаний.
Похоже, ханни, что это все-таки не наш университет.
Да и профессор, кажись, не очень-то нашенский.
Не вполне совпадает, не цент в цент.
Кажется, тут у нас, сэр, какая-то получается каша:
У нашего литератора был другой акцент.
Какая-то смесь китайского, персидского и гишпанского,
А может быть, даже он был француз.
Ну, это не важно, давайте выпьем шампанского
За наш американский учебный союз!
Я думал: Линда оранжевощекая,
Жаль, что мы не встретились тридцать лет назад.
Теперь лишь ласточки пусть прощелкивают
В твоих предательски-барочных глазах.
У этого Бретта будет отменный футурум.
Огромные возможности, сомнений нет.
Большие накопления в мускулатуре.
Он будущий лидер бизнеса, этот Бретт.
Ну что ж, ребята, приятного аппетита!
Фанкью за очертания ваших фанковых черт!
А я отправляюсь походкой троглодита
В Palatium Regiminis на камерный концерт.
Линда хлоп-хлоп, как дитя непорочное:
Устроим сегодня на музыку большой набег!
Официант, заверните несъеденное – салат, кальмаров и прочее
В какой-нибудь невоюнученький «догги-бэг».

Проходим мимо стучащего и скрипящего диско.
Весьма мне известный подвал «Лабиринт».
Четверть века назад я тут кадрил одну одалиску,
За что и был местной сволочью подло бит.
Бретт изумленно пялится на клоаку.
Позвольте, четверть века назад я еще не был рожден!

Что вас заставило четверть века назад ввязаться в драку?
Столь безрассудно, сэр, четверть века назад полезть на рожон?
Что же тут удивительного, плечами пожала Линда.
Профессор был молод, он и сейчас не стар.
Бретт в этой логике от нее отставал солидно.
В закате плавился его загар.

В патио Регентского дворца «Сараевские виртуозы»
Раскачивают Баха завораживающую качель.
В те дни они еще не носили в футлярах «узи»,
Но только лишь скрипки аль там виолончель.
Над патио те же звезды висят, что и над Одиссеем
Висели, когда по волнам тот бежал, промахнувшись, мимо
Итак.
Итак, все те же звезды свой свет рассеивают,
И луна все та же висит, как танк,
То есть в японском смысле, то есть неграмотно,
Танки, ради рифмы, вползают в пейзаж,
Ну а небо втискивается в раму ту,
Что плетут «Виртуозы Сараево», впадая в раж.
Как обычно в начале камерного концерта,
Публика думает рассеянно о пустяках:
О расходах, доходах, о жизни и смерти,
Делая вид, что витает, как истая меломания, в мечтах.
Но вот незаметно джентльмены и леди,
И Партийные товарищи уплывают в тот край,
К той, рожденной от Леды и Лебеда,
Где идет в звоне бронзы троянский грай.
Ну а скрипки поют: Мы живем одновременно
В разных, странно пересекающихся мирах.
Циркуляция крови, излияние семени,
Формулировка в зародыша и расшифровка в прах.
Жизнь ли протекает, как музыкальная фраза?
Всякое ли мгновение жаждет слова «замри»?
Как же нет красоты, если есть безобразие?
Фуга затягивает патио в свой ритм,
Который вдруг нарушается шлепаньем тела на мрамор
И последующим ударом башки.
Это Бретт так вторгается в величие храма,
Вырубаясь из мгновения, где, словно божки,
«Виртуозы Сараево» в мусульманстве, в христианстве, в
еврействе
Продолжают выпиливать, выдувать и выстукивать то,
Что нам Бах преподнес как церковное действо
Для отвлечения мыслей от миллионных лотто.
Завизжала в ужасе оранжевощекая Линда,
К телефону промчался животворный индус,
Англичанин склонился над телом, бородатый и длинный,
Стал массировать сердце и щупать пульс.

Виртуозы играли, пальцы не корчились.
В публике иные посапывали в мечтах о лотто,
Знатоки барокко иные поморщивались:
С этими обмороками получается что-то не то.

Ташим тело в тугих, облегающих джинсах.
Будто рыба влачится мускулистая длань.
Будто мы рыбаки с берегов палестинских
Ташим к варварам в лагерь свежую дань.
Вот по мраморным плитам и сама словно мрамор
Подъезжает карета, полумесяц и крест,
Отражаясь в отражении музыкального храма,
Предлагает пострадавшему медицинский арест.
Что случилось, вдруг встал в искореженной мине
Бретт, отличник, красавец, пловец, скалолаз.
Ничего, ничего, просто Зевса мизинец
Невзначай вам вlepил шелобан между глаз.
Он, качаясь, стоит, в изумлении пялится,
Будто видит весь мир в опрокинутом сне,
Будто хочет спросить у Зевесова пальца:
Почему сей удар предназначен был именно мне?
Вот такая случилась история среди льющейся фуги
Под аркадами и башнями Рагузы за год
до славянской резни.
Все всегда возвращается восвояси, на круги,
Средь лиловых цветов и холстин пресвятой белизны.
В «Бельвью», не предвидя войны,
Танцует цветущая Линда
В ламбадной ораве шпаны
С партнером, веселым и длинным.
Платоновский Демиург
Над ним поработал неплохо:
Во-первых, он нейрохирург,
А в-третьих, гуляка из Сохо.
Увы, он вздыхает, наш Бретт
Отправлен на Запад лечиться.
Ответов по-прежнему нет,
А жизнь, как положено, мчится.
Средь множества аневризм
Есть времени аневризма.
Увидишь ее, не соври,
Не выдумай афоризма.
Так юный твердил философ.
На Север крутили колеса.
Символики колесо
Пытался разъять философ.

В Дубровнике на часах,
Быть может, осталась помета,

Но вскоре война началась,
И все позабыли про Бретта.

3. Сен-Санс

Посвящается Б. Мессереру

Махровой весной 1992 года капиталистического перелома художник Орлович заскочил к себе в Китай-город переодеться перед премьерой в Театре «Ланком», то есть сменить свой полупиджак с потными полукружиями, растущими из подмышек, на другой вариант – с полукружиями, что уже успели подсохнуть, оставив лишь соляные контуры.

Под окном, на крышах каменных трущоб, разросся немалый сад, в котором промышляли наглые коты полузаселенного квартала и беззаветно, будто не чуя постоянной опасности, упражнялась на все голоса суперсаги «Зангези» кошачья дичь, полусоловьи-полупересмешники. Автор тут спотыкается о все эти рассыпанные половинки, но потом, сообразив, что на дворе как раз дрожит марево странной эпохи полусоциализма-полукапитализма, следует дальше в своем полудокументальном повествовании.

В мастерской Орловича поджидал старый друг, богач Абулфазл Фазал, известный всей Москве под уменьшительным именем Фаза. «Почему ты решил, что я приду?» – удивился Орлович. Только человек с сильно выраженным восточным мистическим чувством мог просто так сидеть под чучелом совы и ждать, что хозяин мастерской вот-вот явится. Абулфазл Фазал маленькими пальчиками извлек крытую драгоценным сафьяном, пухлую, как спривочник Авиценны, записную книжку и показал ее Орловичу. «Видишь, здесь тысяча сто моих друзей и тысяча сто моих блядей, и только к тебе я пришел в мой роковой час».

«Какой еще роковой час? – спросил Орлович. – Какой еще у тебя может быть „роковой час“?» Он, разумеется, никогда не думал, что у богатых людей могут быть какие-то «роковые часы».

Абулфазл поднялся во весь свой крошечный рост – пропорционально сложенный и даже красивый восточный человек, только лишь уменьшенный до миниатюра, – и нервно заюлил в пространстве между литографической машиной и макетами театральных декораций. Он то и дело скрывался в дебрях мастерской, как будто уходил под воду, и что-то бормотал, временами что-то выкрикивая. Орловичу могло бы показаться, что он причитает на родном фарси, если бы он не знал, что Фаза не говорит ни на одном языке, кроме русского, да еще того полуворовского жаргона, что именуется the International Commercial English. Вдруг гость прорезался в проеме антресольной лестницы. Стоял драматически, положив руку на гриву раскрашенной деревянной лошадки, – ни дать ни взять персона мексиканской революции. «Я хочу, чтобы мы сегодня были с тобой вместе, Модик! Помнишь, как когда-то?»

Еще бы не помнить! В годы «застоя», или, как Модест Великанович иногда выражался, «в годы сухостоя», Фаза был, можно сказать, единственной артерией, связывающей этот пещерного вида чердак с щедрым Западом. Всегда являлся с ящиками баночного пива, с вермутами и джинами, и сам, как джинн, волокущий за собой пару-тройку первоклассных девиц вместе с мерцающим шлейфом крутого дебоша.

«Не покидай меня сегодня, Модя, если есть у тебя еще ко мне чувство дружбы и душа великого художника!»

«Фаза, дорогой, да ведь премьера сегодня в „Ланкоме“! Не могу не пойти, там мой ученик, Юджин Пендергаст, оформлял декорации!»

«И я с тобой пойду! – как бы обрадовавшись, воскликнул советский перс. – А потом и дальше двинемся и кого хочешь с собой возьмем из „Ланкома“! Только ты меня не покидай, мой лучший друг!»

Отказаться было просто невозможно. Вопреки гуляющим по Москве сплетням, Орлович считал Фазу «отличным парнем». Легче всего, господа, объявить необычную персону

агентом КГБ, а вот вы бы лучше попытались взглянуть на него глазами художника! Этот затянутый в черную кожу миниатюрный демон на белом фоне или в полосах зеленоватого света являет собой пятно хроматической трагедии. Ему жена, проживающая в Лондоне, на Гросвенор-сквер, не позволяет свиданий с дочерью на нейтральной почве, а в Англию он не может приехать, поскольку несправедливо занесен в компьютер Скотленд-Ярда.

Они вышли вместе на Никольскую. Немедленно приблизился экипаж Фаза, «Мерседес-600», с мастером-раллистом за рулем, в сопровождении большого джипа «Исузу Труппер», где размещалась охрана, трое бывших сотрудников спецгруппы «Альфа». Самая надежная в городе служба, хотя и не стопроцентно надежная, если судить по результатам прошлогоднего путча ЦК КПСС. Поехали. Бедный народ прижимался к стенам, как будто от крика «Пади!» и свиста кнута. Фаза, как мальчик, сидел среди мерседесовской кожи. Лицо свое держал в ладонях. Глаза шевелились.

Родители этого могущественного богача принадлежали в старые годы к коммунистической партии ТУДЭ, которая старательно трудилась для осуществления в Иране марксистско-ленинской революции. Увы, реакционные круги тоже трудились над обратным вариантом, и, как выяснилось, трудились более старательно.

Во всех этих делах вместо извечного французского *cherchez la femme* ищи другую первооснову – керосин. Как только народная партия Ирана, выражая чаяния простых иранцев, национализировала нефть, реакция зашевелилась, да еще с такой силой, что свергла большого друга СССР господина Моссадыка и принялась потрошить ячейки ТУДЭ. Те же самые простые иранцы, что вчера еще размахивали красными флагами, теперь под-кладывали активистов ТУДЭ под катки асфальтоукладчиков.

Нет никаких свидетельств того, что именно такая участь постигла отца Абулфазла, однако сын, особенно в подпитии, видел именно эту картину: папашу, старика, расплющивает каток вместе со всеми его железами и потрохами, делает из него просто шкуру наподобие твоего медведя, Модик, на котором сейчас сидим, или даже тоньше, много тоньше. И заливался рыданиями.

О матери же своей Абулфазл Фазал вообще предпочитал не упоминать, хотя она тоже не вернулась из той моссадыко-пехлевистской переделки. Словом, что там говорить, взрослая сволочь мира во всех своих оттенках творит мерзости, а расплачиваться приходится детям. В семилетнем возрасте Фаза попал в сиротский дом Коминформа в глубинном российском Иванове, где научился в лучшем виде выскребать оловянной ложкой оловянную миску. Там он и повзрослел. Для переноса смысла мы можем перенести союз «и» в другое место и тогда, пользуясь гибкостью русского языка, получим нечто не очень-то вдохновляющее: «там и он повзрослел», то есть и он к взрослой сволочи приобщился.

Впрочем, достоверно известно только то, что он окончил в Иванове среднюю школу. Дальнейшие его университеты прикрыты туманами холодной войны. Иногда, по пьяни, выплывало, что он вроде бы получил степень бакалавра в старом Оксфорде, в другой раз смутно упоминалось какое-то училище в Рязани, где овладел наукой выбивать зубы и пользоваться психотропными пилюлями. Одно другому, впрочем, не мешает, а иногда и помогает, и уж во всяком случае ни то, ни другое не препятствует накоплению огромного капитала в твердой валюте.

Московские друзья и подруги привыкли к тому, что Фаза иной раз пропадает на несколько месяцев, «линяет с концами», как будто его никогда и не было, а потом снова возникает, сначала в виде слухов из Нью-Йорка, скажем, или с острова Мальта, или из Каира, а то и с кинофестиваля в Каннах или из кулуаров совещания стран ОПЕК, а потом и сам материализуется на богемных чердаках и в кабаках Москвы, окруженный сомнительными «шестерками» и безупречными девицами.

«Вы все меня считаете агентом вашего мудачьего КГБ, старики, – говорил он, – а между тем я просто бизнесмен, сторонник системы свободного предпринимательства. Все дело в том, концы моржовые, что у меня есть иранский паспорт, а он при всей своей говенности дает возможность выезда из дикой страны моего детства и открытия в разных странах торгового бизнеса».

На чердаках и в кабаках покатывались со смеху. Щеки у присутствующих сводило от подмигивания: «А чем же ты торгуешь, Фаза?»

«Съестными припасами, – гордо заявлял иранский подданный и добавлял: – А также фертилизаторами».

«Ну, то есть говном, – пояснял тут же какой-нибудь остряк. – Наш Фаза людей кормит, а потом продает фекалии». После таких слов Абулфазл немедленно бросал в остряка через стол бутылку и нередко попадал. От дома, впрочем, ему никогда не отказывали. Богемщикам нравилось представлять его иностранным журналистам со словами: «А это господин Фазал, наш простой советский капиталист».

Вдруг однажды «каналы» (так в Москве тех лет называли иностранных корров, имея в виду «каналы» легальной и нелегальной информации) заволновались по поводу Фазы. «Давно ли вам встречался господин Фазал? А что вы о нем думаете? Не волнуйтесь, все, что вы скажете, будет офф-рекорд». Оказалось, что господин Фазал арестован в Мюнхене контрразведкой ФРГ и что Америка требует его выдачи как нарушителя закона о запрете торговли стратегическими товарами. Советское правительство, разумеется, занимает позу оскорбленного достоинства. Иран заявляет, что ублюдок Фазал является слугой Сатаны и к своей праведной родине не имеет никакого отношения. Потом все затихает, как будто и не было в мироздании такого персонажа, как Абулфазл Фазал.

Через три месяца он появляется, неся на ланитах покров байронической бледности. «Я много пережил за это время, – говорит он друзьям и подругам из сафьяновой книжки. – Тамара оказалась мне неверна. Манхэттен засосал ее в свою развратную трясину. Больше на Манхэттен я не ездук!» На все вопросы о заграничной тюрьме Фаза отвечает лишь небрежным отмахиванием: «Что за лажа? Не верьте дурацким сплетням!» Вялый, посторонний, хмурый, растерзанный любовной драмой, сидит на своей трехэтажной даче под Москвой, никого не приглашает, но и не прогоняет, если приезжают без приглашения.

Наконец, начинается «горбовизм», открываются головокружительные возможности в мире международной торговли съестными припасами и фертилизаторами. Абулфазл, к тому времени оправившийся от воспоминаний то ли о «трясине Манхэттена», то ли о германском узилище, оказывается со своим капиталом – по слухам, не менее 300 зеленых лимонов свободных денег – в центре новых инициатив. День-деньской он курсирует между цековским кварталом на Старой площади и молодежным филиалом, что наискосок через бульвар, за памятником «Гренадерам Плевны». По коммерческой энергии молодые ленинцы перекрывали тогда даже опыт товарищей из штаба партии. Даешь КомСоМол, Коммерческий Союз Молодежи!

Фаза заседал в советах попечителей новых корпораций, акционерных обществ и фондов, циркулировал по странам, не отказавшим ему в праве въезда, создавал филиалы и «дочерние группы» под «амбrelloй» его собственного посреднического финансового узла, название которого вдруг всем стало известно: Euro-Asian Fellowship. В Москве тем временем он тоже распространялся в новых предприятиях: то валютный бар, то валютный продмаг, то общедоступный спортцентр (наиболее подозрительное заведение из всех), то дискотека, то кинокомбинат вкупе с фабрикой сувениров – повсюду выявлялось присутствие вездесущего Фазы. Друзья нередко могли его застать и в президентском кабинете, стометровой комнате над крышами Москвы. Подобно ранним символистам, смотрели на угасание заката, играли на пианино что-нибудь ностальгическое, вроде «Московских окон негасимый свет». Фаза

грустил. Он был убежден, что ни одна женщина не полюбит его всерьез из-за его миниатюрных размеров.

Однажды Модест Орлович застал его в вестибюле фирмы за необычным занятием. Господин президент лично распоряжался погрузкой в фургон большого количества каких-то увесистых ящиков. «Что там такое?» – поинтересовался художник. «Рубли», – был ответ. Даже легкомысленный художник не мог не удивиться: «Как, во всех этих ящиках – наши, советские рубли?» «Вот именно, – сохраняя свою постоянную серьезность, кивнул перс. – Причем в крупных купюрах». Даже легкомысленный художник не мог не поинтересоваться: «А куда же их везут?» Фаза полоснул его взглядом леопарда, но потом с серьезностью рассмеялся: «Модик, ты же знаешь, что на некоторые вопросы нет ответов». Художник не мог не рассмеяться в ответ: «А почему бы тебе не подарить старому другу хоть один ящичек?» Фаза еще раз серьезно на него посмотрел, а потом сказал: «Да бери любой». Тут же один из евразийских молодцов погрузил ящик рублей в багажник модестовской «Лады». «Потратить быстрее», – посоветовал друг.

Потратить рубли в последние месяцы коммунизма было задачей не из легких, потому что на них уже почти ничего не продавалось, однако и тут Фаза пришел другу на помощь советом: «Изьяви желание потратить в десять раз больше цены и сразу найдешь немало превосходных товаров».

Вот таков был маленький Абулфазл Фазал. На его долю в жизни выпало стать оператором денег, и он с этой долей неплохо справлялся. Иные скажут: что еще надо человеку? – и проявят таким образом поверхностный взгляд на жизнь вообще и на жизнь Абулфазла Фазала в частности. Слов нет, деньги много дают человеку, но когда ими постоянно обладаешь, начинаешь воспринимать их как воздух и вдыхаешь не задумываясь, то есть не всегда проникаясь счастьем.

Счастье, может быть, в основном исходит от женщин, так иной раз думал Фазал и начинал грустить. Грустная проблема женщин, как ни странно, была у него связана с изобилием денег. Всех своих красавиц он подозревал, что они ложатся с ним в постель из-за денег, а не из симпатии.

Как и подобает падишаху, он был исключительно щедр с женщинами. В ответ и они были щедры и охотно отвечали на все запросы. Еще бы им не отвечать на мои запросы, когда я им так много даю всего материального, говорил он друзьям. Он как бы даже не допускал мысли, что какая-нибудь женщина может увлечься таким маленьким мужчиной без материальной щедрости. Друзья его утешали: в постели разница в росте значительно сглаживается. Да-да, он кивал, я и сам нередко замечал этот феномен, тем более что моя штука их вполне устраивает. Свой фаллос он нередко называл «штукой», а если учесть, что в московском денежном жаргоне слово «рубли» все чаще вытеснялось «штукой», иначе говоря тысячей, то тут опять возникала какая-то двусмысленность.

В общем, он всегда мрачнел, когда речь заходила о женщинах. Как они могут быть, эти бляди, со мной искренними, если я им и шубы покупаю, и телевизоры японские, даже автомобили, а в некоторых случаях и кооперативные квартиры? Ну хорошо, Фаза, говорили ему друзья, завязывай со своей щедростью, вот и проверишь, кто к тебе хорошо относится. Это невозможно, отвечал он. Я не могу быть жадным с женщинами, с этими суками, которые на Манхэттене впадают в форменное свинство, а иногда даже отказываются прилететь в Швейцарию с моими собственными детьми.

Таков в общих чертах был этот Абулфазл Фазал, чьи деньги сильно перевешивали его хрупкую фигурку, хотя слегка и уравнивались трагическим иранским лицом с буре-вестниками бровей.

В Театр «Ланком» в тот вечер съехалась «вся Москва», вернее, то, что от нее в тот вечер осталось, учитывая «четвертую волну» эмиграции и крушение «железного занавеса».

Этот театр еще недавно назывался «Ленком», однако публика в духе времени вроде бы даже не заметила изменения первой гласной, тем более что вместо красной портяночки здесь и впрямь стало попахивать французской парфюмерией.

Давали в тот вечер пьесу под сходным названием «Экскьюзе муа», которое, как и имя театра, давало возможность разных толкований. Действие происходило в морге. Где же еще может происходить действие пьесы 90-х годов? «Цветы зла», как выразился тогда ведущий филолог постсовковизма, пышно расцветали даже на письменных столах профессиональных апологетов добра.

Дело не в пьесе, совсем не в ней. Многие театры начинаются с вешалки, то есть с раздевания в гардеробе, «Ланком» же всегда начинался с перерыва, с прогулки по паркетным фойе. Абулфазл всегда оживлялся в перерывах пьес, вот и сейчас он немедленно задействовал свою перерывную активность и вручил свои визитные карточки двум театралкам, у которых ноги начинались на уровне его подбородка. Девушки сразу поняли, с кем имеют дело, и вспыхнули неподдельным девичьим чувством, ибо не было в Москве ни одной длинноногой девушки, которая не слышала бы о загадочном персидском набобе.

Здесь мы не можем не позволить себе короткого лирического отступления по адресу новых девиц. Откуда они явились на российскую землю в эти смутные времена? Ведь прежде нашу гордую страну можно было назвать чем угодно, но только не питомником высоченных манекенщиц. Красавицы России никогда не отличались чужеродной долговязостью, как вдруг подрос урожай семидесятых, этих жирафчиков с кукольными личиками, постоянно пребывающими в состоянии несколько глуповатой задумчивости.

По мере того как перестройка становилась все более необратимой, их полку прибывало. Некоторые из них позировали на танках во время Августовской революции, предотвращая своим присутствием газовую атаку коммунистического спецназа. Есть что-то таинственное в их наружности, тем более что мужская половина этого поколения не может похвастаться никакими особыми качествами, кроме искусственно выпяченных подбородков. Кто они, эти тонкие и длинные дочки России, что появились так вовремя на высшей точке декаданса, если у этого понятия может быть такая вещь, как высшая точка? Может быть, это своеобразные мутанты, возникшие под влиянием каких-то еще не изученных радиации? Во всяком случае, они теперь заметны повсюду, в том числе и в Театре «Ланком» во время его знаменитых перерывов.

Кроме девиц присутствовали здесь также и многие представители новой администрации, то есть представители старой администрации, поменявшиеся друг с другом местами, то есть слагаемыми суммы. Были и лица, сильно взметнувшиеся к вершинам из худосочия прежней командно-административной системы. Так, например, в толпе солидно прогуливался подполковник Зубцов, знакомый Фазы еще по рязанской школе высших наук. Еще недавно этот Володька Зубцов за триста двадцать рэ мудачил в Пятом управлении комитета, а теперь вот заседает в новой рыночной структуре «Рострум-траст», торгует «дизелькой» и тем, что на этой «дизельке» быстро ходит по небу, то есть реактивными перехватчиками. В комитетские времена этот хмырь Зубцов навтыжку тянулся перед каким-нибудь генералом идеологического сыска Бобцовым, а теперь этот сумеречный генерал у него на подхвате, консультантом, то есть просто чтобы не сдох в период отвязанной инфляции.

Зубцов, похоже, хотел ограничиться солидным, едва ли не вельможным кивком в адрес Фазала, однако тот сразу напомнил ему о субординации, пригласив приблизиться легким спуском правого века и еле заметным сгибательным движением ладони. Зубцов тут же сообразил, что неправильно себя повел. За годы работы в своем сраном комитете он усек, что в мышечной системе человека не даром имеется в два раза больше сгибателей, чем разгибателей. И немедленно подскочил на цирлах.

Такова была постоянная тактика Фазы на подобных московских тусовках. Будучи крошкой и всегда опасаясь, как бы не затерли бокастые и жопастые мужланы полупреступных сфер, он разработал немало способов создания вокруг себя определенного пространства, в котором доминировал. Так и сейчас, на десятой минуте ланкомовского перерыва вокруг него оформился кружок отечественных и иностранных проходимцев, изыскавшихся на International Commercial English и обращавшихся к нему за уточнениями. Разговор вылепился примерно вот в таком стиле: «А ты его на хер пошли выз сач пропозышнз! Уот эбаут Ебург прайм рэйтс, Дык? Вова, белив ми, там на тебя наедут! Каман, Марчело, уи эр ол хьюман бынгс...»

Разговаривая в таком стиле, Фазал высматривал, куда пропал друг, «альбатрос богемы» Модест Орлович, и, найдя его наконец в окружении «своих», то есть актеров, писателей и художников, бросил денежную шпану и немедленно к ним устремился, к своим. При всех своих финансовых, торговых и еще неизвестно каких мероприятиях он все-таки считал себя человеком московской богемы. «Олег, Сашка, Ниночка, Ляля, Витюха, эй, после спектакля не разбегаемся, о'кей, дальше двинем, лады?»

В этот как раз момент из глубины фойе ухмыльнулось ему толстогубое и неумолимое наваждение, что месяц назад вдруг вынырнуло, то ли из подполья, то ли из подсознания, в Долине Бекаа. Уже тогда он понял, что, как бы мимолетно оно ни пролетело, от него не уйти, что адресовано оно лично ему, маленькому воспитаннику Ивановского спецдетдома, что никакие дяди теперь уже его не защитят.

Гремел третий звонок. Публика, начисто забыв первое отделение пьесы «Экскьюзе муа», перлась на второе, а Фаза, потеряв эквилибриум – вот именно, эквилибриум! – нелепо разъехался на навощенном паркете. Руками хватался за гладкую поверхность, а руки скользили, как будто и ладони превратились в итальянские полированные подошвы. Что меня тогда туда понесло, прямо в пасть? Вечно я ищу на свою маленькую жопу больших приключений. Он бормотал чепуху, как будто речь шла просто о просчете, о неправильной стратегии, то есть о вещах хоть и ужасных, но поправимых, бормотал, бормотанием отгоняя подспудную уверенность в неотвратимости гнуснейшего, грязнейшего наваждения, уверенность в том, что и вне Бекаа-Вэлли оно бы появилось перед ним как завершение какой-то тысячеходовой бессмысленной манипуляции.

Еще утром, когда его команда заправлялась бензином без очереди на станции «Ажип», толстогубая ухмылка мелькнула перед ним за крышами десятков машин и мгновенно растаяла, оставив его со сбившимся дыханием и затрепетавшим пульсом и с твердым ощущением того, что вот теперь-то на него окончательно «наехали».

Весь день, пока ездили по идиотским многомиллионным делам, он рыскал взглядом во всех направлениях, подавлял трепетание порциями коньяку, но ничего больше не замечал. Глава охраны Кеша Тригубский, человек с железной башкой гонщика и скалолаза, и тот заволновался: «Где-то непорядок, шеф?» Фазал прикрыл ладошкой маленький шарикоподшипник уха, принадлежащего шварценеггеровидному человеку: «Кеша, на меня наезжают!»

«Кто? – выстрелил вопросительной ракетой Тригубский. – Только скажи, сейчас же поедem, разберемcя по-хорошему. Башку в пакете привезем, если прикажешь».

Эх, Кеша, Кеша, рыцарь охраны, как я могу ответить на твой вопрос? Кто может на него ответить? Москва, которая столько уж лет была у Фазы за пазухой, теперь стала выпирать дикобразными иглами. Да ведь не ехать же к тем, первичным дядечкам, за протекцией! Да ведь их, наверное, на прежних-то местах и не осталось, рассосались все по коммерческим структурам. Да и вообще чего от них ждать!

К концу дня измученный Фаза решил отправиться к «своим», то есть к теплому корешу, «альбатросу богемы» Модю Орловичу. Модька ведь и сам к нему иной раз притаскивался потрепетать о своих собственных «глуках». Толстомаяся ухмылка может быть забыта, если

раскрутить, как в прежние времена, хороший артистический дебош. И впрямь, мастерская в Китай-городе, потный хлопотливый Модест, театр, антракт, новые девушки – все это вроде бы укрепило вегетативку, как вдруг в самый неожиданный момент оно снова ухмыльнулось ему, и вновь вокруг и внутри стал раскручиваться серпантин Долины Бекаа, населенной убийцами сверх всякой меры. Интродукция и рондо-каприччиозо, почему-то пробормотал он, пытаясь на всех своих скользящих добраться до угла опустевшего теперь фойе.

Художник Орлович, во время антракта в болтовне, конечно, забывший отлить, теперь спешил из туалета в зрительный зал и на ходу задегивал главный подъезд своих длинных штанов. Вдруг увидел в углу скорчившегося Фазу, своего лучшего друга, о котором, надо признаться, никогда не думал, пока тот сам не появлялся. При его появлении Орлович, надо сказать, всегда испытывал смутные угрызения совести. Вот, я о нем не думаю, а он хочет со мной общаться. А ведь он мне, между прочим, ящик денег подарил, которые мы даже не пересчитали.

Хотел было проскакать в рассеянности, как бы в борьбе с ширинкой, мимо друга, однако косячком заметил его глаза лошадиные. Замер на бегу и увидел: «за капличей каплица по морде катятся, прячутся в шерсти»... Разными приемами представляя читателю международного дельца, гражданина Исламской Республики Иран и постоянного резидента Российской Федерации Абулфазла Фазала, мы все-таки до сих пор еще не упомянули его плотную бородку, обтягивающую нижнюю часть лица, как своеобразное трико.

Не знаем, что имел в виду поэт, говоря о том, что у упавшей лошади «каплички» прячутся в шерсти. Может быть, гриву? Но тогда переворачивается вся картина упавшей лошади. Мы же, употребляя здесь широкоизвестную цитату, не допускаем никакой поэтической вольности. Слезы просто стекали из глаз Фазы и прятались в его бороде.

«Модик, умоляю, пойдём отсюда! В этом театре что-то такое есть... нетипичное... Давай сваливать!» Дружба часто измеряется рубахой. «Последнюю рубаху другу отдаст», ну и так далее. Орлович тоже тут прибегнул к рубашечным критериям. Выпростал подол из штанов и вытер оным другу измученное влагой лицо.

Началась типичная для этого круга людей московская ночь, из тех, что иногда весь этот сброд называл «сдвиг по Фазе». Поехали куда-то на «Мерседесе» в сопровождении уже не одного, а двух полувоенных автомобилей. Фаза глотал коньяк из выдвижного бара, да и Модест не отставал. По сафьяновой книге султан звонил своим пэри в разные концы Москвы, в пригороды, в Санкт-Петербург, иногда и за границу, в частности, по лозаннскому телефону некоей Розали, которой говорил: «Дарлинг... бэби... заткнись, бляди кусок, я знаю все!»

Иногда караван останавливался возле какого-нибудь подъезда, и оттуда выпархивала, дыша духами «Мистик», то есть почти впрямую «духами и туманами», нимфа сексуальной Москвы. Приникала к измученной щеке покровителя, шептала: «Милый... Фазочка... что с тобой... ну ничего-ничего, мы вместе...» Таких заездов Модест насчитал пять или семь. Пришлось потеснить охрану в их вездеходах.

Чтобы не рассусоливать эту сладкую жизнь вдоль бывшей Горькой улицы (мы ведь не раз тут уже рассусоливали, тут и репутацию навек погубили), перечислим лишь кратко те места, по которым прошла наша ночная экспедиция. Ну, разумеется, «Метрополь», где в Морозовском зале устаканивали фонтаны шампанского «Дом Периньон» под блины с кавиарами. Ну джаз-клуб «Таверна Аркадия», где друзья молодости Алекс Козлоу и Герман Лукиан, похожие на профессоров среднеатлантических колледжей, вместе со своей ритм-группой, похожей на студентов тех же колледжей, приветствовали компанию ностальгической бравурой Now's The Time. Ну и, наконец, наиболее, так сказать, скандально известный

притон Moscow Flights, что можно перевести, хоть и неточно, но близко к сути, как «Московские Атасы».

Когда Тригубскому назвали последнее направление, он нахмурился. «Это серьезно, шеф, – предупредил он. – „Атасы“ в четыре утра и с нашим контингентом – это очень и очень серьезно, дорогой шеф!»

Сваливать надо, с порядочным уже унынием думал художник Орлович. Любовью он был в своей жизни более чем сыт, даже и пить – вот такая чепуха – больше в эту ночь не хотелось. Даже уже и верные пэри начинали очаровательно позевывать, а те, что поближе, шептали в маленькие ушки: «В постельку, Фазик, в Барвиху, котик?» Абулфазл, однако, был неутомим и неумолим. Этот цикл должен быть завершен, как в лучшие времена, решил он и твердой рукой направил экспедицию к известному дому в окрестностях Пушки, над которым когда-то парила каменная дева социализма, а теперь сияет тавро рынка недвижимости, Малка, еврейская царица.

По телефону из машины были уже заказаны столы. Отказать Фазе, конечно, нигде не могли, однако с некоторой истерической надеждой попросили: «Может, перенесем на завтра? У нас тут сейчас беспокойно, друг!» «Вот и хорошо, что беспокойно! – взвизгнул в ответ Фазе. – Мы покоя не ищем!» Он ткнул Тригубского в железную спину: «Скажи ребятам, чтоб были наготове!» Почему-то он был уверен, что в этой дискотеке, в этом почти незамаскированном борделе, где телок снимают по три сотни баксов за штуку, вот именно в этих «Атасах», и произойдет решительное столкновение с глумливой толстогубой улыбкой из Долины Бекаа. Прятаться не буду, думал он, от вас не спрячешься.

«А ты бы меня сбросил, Фазе, а? – предложил Орлович. – Знаешь, тянет к холстам. Вдохновение какое-то посетило, боюсь упустить».

«Разве тебе не интересно, друг, присутствовать при закате Фазы?» – усмехнулся тут друг, да так холодно и отчужденно, как будто вовсе и не богатый жулик, как будто что-то в нем открылось врубелевское, по всем оттенкам лилового, как будто маленький демон.

Возле входа в бардак стояло отделение ОМОНа, десять молодцов в белых касках. Стояли вольно, курили «Мальборо». Похабными взглядами проводили девичью свиту, четырнадцать великолепных ног. Внутри оглушительно ухала колотушка музыки. В пятнах света извивалась ламбада, показывала товар лицом. Жадная толпа мужских хищников медленно приближалась к вновь прибывшим. Семеро девушек преданно стояли за спиной своего маленького набоба, делали вид, что хищнические инстинкты местной своры не имеют к ним никакого отношения. Тригубский со своими «альфистами» выдвигался на передовую позицию.

Дежурный по залу, господин Фаддеев, сам человек с богатым прошлым, солидно пожал руку дорогому гостю, после чего сообщил с полублатным наклоном, что атмосфера сгущается. Пришли три «афганца» и положили на стол штуку баксов. Давай, говорят, шеф, работай! Нам надо эту штуку за два часа устаканить. Тащи три ботла «Белой лошади», три ботла «Чинзано», три упаковки пива и «Наполеон», только, падло, неразбавленный! Остыньте, ребята, остыньте и спрячьте ваши баксы под камуфляж, такой им дается сейчас совет. Тут бутылками не обслуживают. В дискотеках обслуживают дрынками, ясно? Может, вам в задней комнате накрыть, господин Фазе, с вашим комсомолом?

«Дорогу!» – коротко, как сами видите, сказал Абулфазл Фазал и пошел прямо на мужскую стену. За ним все четырнадцать туфелек зацокали.

«Прошу внимания! – в отчаянии закричал диск-жокей. – Дамы и господа, отдадим дань ностальгии! Белый вальс! Приглашают девушки!»

Началось давление нескольких противостоящих мужских масс, и художника Орловича каким-то чудом вынесло на улицу. Быстро зашагал в сторону. С горечью думал: мне там нечего делать. Пусть Фазе один наслаждается своей гибелью. Ничем не могу ни отдалить, ни

приблизить. Мы все-таки даже не смежники. Я художник красок, а ты художник денег. Вот когда умру и мои цены в ебаном Соцебу пойдут на лимоны, тогда мы сомкнемся, тогда мы сомкнемся. Сейчас мы далеки. Даже твои девушки мне чужды, слишком хороши. Никакого сравнения с Музой Борисовной или Птицей-Гамаюн, не говоря уже о чистейшей Кимберлилулочке! Тебя, мой друг, защищает центурион Тригубский, а мне ОМОН первому проломит голову. Все знают, что я противостоял бульдозерам в борьбе за родное искусство. Не из-за страха сейчас ухажу, а из-за непричастности. Хватятся: где Орлович? Попробуйте догадаться. Где же ему быть, если не в суровом своем ателье, не у сурового холста, не над крышами своего перевернутого града?!

В девятом часу утра Абулфазл Фазал добрался наконец до своего соснового оазиса в поселке Барвиха. Хаотическая разборка в «Московских Атасах» закончилась, как ей и надлежало, установлением его полного господства. Хоть и без Модика, но со всеми своими девушками он пил шампанское и с удовольствием смотрел, как протаскивали по полу и вышвыривали на Тверскую всяких там то ли настоящих, то ли фальшивых «афганцев». В целом все получилось недурно. Несколько раз откуда-то куда-то стреляли, однако у Фазы в целом не осталось никакого зловещего осадка. Гибельная рожа так и не выплыла и не повисла перед ним, даже и не промелькнула, как дважды случилось за прошедший день, хотя, если уж и завелась эта пакость в Москве, где же еще ей осесть, как не в «Атасах».

К рассвету Фаза развез по домам всех своих пэри и, к удивлению последней, пятнадцатилетней отличницы учебы Анюты, остался один. Везти приказал себя в Барвиху, к розовеющим уже восточными щечками соснам.

Дача, словно живая, шестью большими окнами смотрела, как он приближается к ней по асфальтовой дорожке. Он знал, что, когда откроет дверь, жилище заиграет для хозяина какую-нибудь музыку. Однако какую в этот раз? Прокофьева ли, Россини ль, что-нибудь из барокко? Нехитрое это устройство с музыкальным приветом он внедрил повсюду, где у него были дома: и в Лозанне, и в Париже, и на острове, извините за выражение, Ибица.

Поворот ключа, и мгновенно начинается мощный скрипичный концерт, «Интродукция и рондо-каприччиозо» Сен-Санса. Вот этого он почему-то не ожидал. Или как раз этого и ждал? Растерянность втянула его внутрь, и он начал ступать как бы в ритме скрипок – не слишком ли поспешный ритм? – от дверей к лестнице, по ковру, пересекая чуть колеблющийся узор, отпечаток рассвета.

«Фаза, – тихо позвал сзади Тригубский. Он стоял с пистолетом в вытянутой руке. – Прости, не хотел в спину», – сказал он с симпатией.

«Ты не прав, Кеша! Ты не прав! Ты ошибаешься!» – вскричал Абулфазл. Концерт продолжался. Еще два-три такта, и он должен был замереть, уступив место тишине большого дома. У Тригубского больше нечего было сказать, и Абулфазл начал ловить пули. Одна, другая... В этот момент все окна дачи залепила мясистая улыбка Долины Бекаа. Третью пулю он поймал ртом.

На панихиде много говорили о вкладе, который Абулфазл Фазал внес в развитие экономики, а также в науку менеджмента, эту новую отрасль знаний в возрождающейся России. Модест Орлович был весьма удивлен: оказалось, что его покойный друг был не только бизнесменом, но и теоретиком бизнеса. Под разными псевдонимами он напечатал в журналах Востока и Запада статьи, повлиявшие на общий поворот мирового рынка восьмидесятых годов. Один из ораторов отметил также, что, чужеземец по рождению, Абулфазл Фазал был подлинным патриотом России и всегда настаивал на особом пути, которым должна идти к счастью его вторая родина.

«Грустно», – сказал стоявший рядом с Орловичем верный оруженосец Фазы Кеша Тригубский, одетый, как и все присутствующие, в строгий однотонный костюм.

III. Досье моей матери

Архив Татарии. Портрет Дзержинского.
Все те же арии.
Либретто свинское.
Давно уж дуба дал дух коммунарии,
Шамиев шубу сшил,
Дыр бул шил,
Персек Татарии.
Колода тленная, а масть крапленая.
Башка у Ленина теперь зеленая.
Ислам марксистовый в склоненье дательном.
Калым неистовый. Чекист старательный.
Воняет охрою, тряпьем, говной,
И те же вохровцы на проходной.

Да, нет-нет, это, конечно, просто эмоциональное, предвзятое, необъективное. Конечно, многое изменилось даже здесь, на волжском «острове социализма». Кто бы тебя сюда раньше пустил? Читать досье матери из архива «Черного Озера»? Отправили бы полечиться. Теперь ты приходишь вместе с профессором Литвиным, и вохра тебя как бы и не замечает. Больше того, за тобой вкатывается московская киногруппа – Света, Сережа и Катя. Ничего особенного, просто съемка эпизода «Ознакомление Аксенова с делом его арестованной в 1937 году матери».

Тому кусок истории назад
Товарищ Бекчентаев выбрал папку.
Она была сера, как весь совдеп,
Как курс истории марксизма-ленинизма.
Вот вам энкавэдэ, вот стойкость матерьяла:
Кусок истории прошел, истлели судьбы,
А папочка с тесемочками, курва, цела.

Я родился на улице тишайшей, что Комлевой звалась в честь местного большевика, застреленного бунтующим чехословаком. Окошками наш дом смотрел в народный сад, известный в городе как Сад Ляцкой, что при желании можно связать и с ляхом.

Поляк и чех присутствовали здесь, и стало быть, Центральная Европа каким-то образом тут прогулялась. Мы говорим «Центральная», поскольку Татарское Заволжье, господа, географически еще Европа.

Наш скромный дом соседствовал с шикарнейшим модерном в три этажа. Там на фронтоне зиждилась скульптура, ошеломлявшая дитя, когда бы ни взглянул. Скульптура такова: стеклянный шар земной в широтах и меридианах, а на нем верхом орел, простерший два крыла отменной бронзы. Не понимая, что к чему, ребенок застывал перед фронтоном, и всякий раз при взгляде на орла ему хотелось пить.

Ребенок, словно собачонка,
Не очень часто замечает небеса,
Но вот однажды, вскинув головенку,

Он видит: темная большая колбаса
Плывет над садом. Дикая картина,
Не черт, не шут, акула, но без жабр...
Тут слышится над ним басок партийный:
Се гордость родины, советский дирижабль!
Неделя не прошла, как в том же небе —
Июльско-серый свод над купами дерев —
Восьмимоторный монстр, кумирня плебса,
На Азию прошел, триумфом проревев.
Ребенок созерцал свой переулок главный,
Свой главный окоем и в центре главный дом,
Тот обреченный дом Евгении и Павла,
Где рост его отмечен был мелком
На дверце спальни, где ружьем с липучкой
Был он к пяти годам вооружен
И где в конце концов замок сургучный

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.